

ISSN 0131—2332

# Москва

7

1988

Апрель 1934 года

СЕРГЕЙ ВОРОНИН

# НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПОВЕСТЬ

Это было  
с бойцами  
или страной,  
Или  
в сердце  
было  
в моем.

B. Маяковский

За городом стало еще темнее. Шел двенадцатый час ночи. Дорога была неотличима от черных полей — снег уже сошел. Ласковый, влажный ветер, наполненный запахами земли, тепло и мягко утыкался в грудь, в лицо, но он не приносил той легкости, какую всегда испытываешь, вдыхая свежий ветер весны. Все, что только час назад произошло, было подобно в своей безысходности вот этой тусклой тьме, когда нет в небе звезд и нет просвета на земле. И поэтому весна, которую я всегда так ждал, которая манила меня, куда-то звала, на этот раз не радовала. Я даже не думал о ней, идя по лужам, по грязи, низко опустив голову.

Налетел ветер. Распахнул шинель. Рука привычно легла на пояс, но ремня не было. Он остался на гауптвахте у карнача. И петлиц не было, этих голубых кусочков неба. Но о них я не жалел. Только тяжело было вспоминать, как срывали их ребята из взвода охраны.

Конвойир, слева от меня, споткнулся. Наверно, устал держать винтовку наперевес. «Пятый патрон в ствол! В случае побега стрелять!» Я шел в середине. Впереди начальник конвоя, тоже с винтовкой наперевес, словно собрался идти в атаку, и по двое с боков. Усиленный конвой!..

«...Приговаривается к восьми годам лишения свободы...» Когда я это услышал, то на меня словно накатила тяжелая удушающая волна, качнула, и я подумал: упаду! Вот тут-то и стали срывать петлицы. Я сначала не понял, испугался: задушить, что ли, хотят? С такой яростью кинулись ко мне охранники. Они тянули воротник в разные стороны, рвали его, суматошились, выказывая свое усердие.

«Прощай, Сережа!», «Сережа, прощай!», «Воронин!» — эти крики до сих пор стонут в моих ушах. Чуть ли не вся рота выстроилась двумя шеренгами по длинному коридору, когда меня повели из зала суда. Курсант Сорокин, которого я не очень-то хорошо и знал, кинулся ко мне, оттолкнув конвойира, и, плача, поцеловал. (За эти проводы девятнадцать курсантов были посажены «на губу», — об этом я узнал от Володи Брауна через девятнадцать лет.)

Ветер переменился, подул с Волги,

Про<sub>з</sub>а

и, хотя река была далеко, все же потянуло сыростью, стало зноно, а может, это только показалось, потому что возбуждение проходило и нервная дрожь охватывала меня. Низко над землей, невидимые, с радостно-озабоченным выкликом пролетели гуси, торопились на север, туда, где Ленинград, где остался мой дом.

«Восемь лет, — в смятении подумал я, — восемь лет! Когда все это кончится, мне будет двадцать восемь!..» Я никогда не задумывался над годами, над временем, и только теперь — еще не представил, а смутно начал понимать, как это бесконечно много — восемь лет! И мне стало страшно, что эти восемь лет я должен провести в тюрьмах, в лагерях, и кто знает, доживу ли до их конца.

В стороне от дороги во мраке зажелтел огонек. Конвоиры прибавили шаг, и вскоре прямоугольным заслоном поднялась высокая стена. У железных ворот в окне дежурки за решеткой светилась электрическая лампочка. Начальник конвоя открыл дверь.

— Проходи! — скомандовал он мне.

Стуча сапогами, замкнули шествие конвойные.

— Ого! Бандит, что ли? — удивленно окинув меня взглядом, сказал приземистый дежурный с плохо выбритым лицом.

Начальник конвоя, молоденький командир отделения, протянул ему пакет.

Дежурный отодвинул кружку с чаем, прочитал документы, расписался и, отдавая расписку в получении арестанта, усмешливо сказал:

— Делать вам больше, что ли, нечего, пятеро такого вели.

Конвой ушел. Я опустил на пол маленький чемодан. В нем лежали мои новенькие, выходные хромовые сапоги с шевровыми головками, несколько пачек махорки, полотенце, зубная щетка с порошком и толстая тетрадь в kleenчатой обложке — это был мой дневник. В него я заносил только то, что происходило со мной.

— Куда его? — спросил молчавший до этого второй охранник. — В восьмую?

— В восьмой раскурочат, — ответил дежурный, глядя на мой чемодан. — Давай во вторую.

— Можно и во вторую, — согласился охранник и повел меня через проходную дверь во двор.

— Топчан дай! — донесся голос дежурного.

«Вот и все! Теперь уже все!» — безо всяких надежд на лучшее подумал я. И в это «все» входило и сознание загубленной жизни, и разлука надолго, а может, и навсегда с матерью и с тем привычным миром, в котором все было знакомо. В это «все» входило и то, чем я жил до сих пор, что радовало и огорчало и что осталось позади, куда уже нет возврата. Теперь, отныне, начиналась новая, совершенно иная для меня жизнь — бесправная, ничего не обещающая доброго.

Охранник провел меня по выложеному крупным булыжником двору и остановился у железной решетчатой двери, открыл ее большим ключом. Мы вошли в помещение. И сразу же в нос ударила тяжелая вонь уборных, смешанная с карболкой.

И снова безостановочно, как на «морзянке», застучала мысль: «Вот и все... вот и все...» Она стучала, пока я подымался по каменной лестнице с изношенными, а в середине даже протертными до выемки ступенями, стучала и в длинном, тускло освещенном одинокой лампочкой коридоре с бетонным полом.

Двери второй камеры были открыты.

— Заходи, я сейчас принесу топчан, — сказал охранник и ушел.

В камере, при тусклом свете малосвечевой лампочки, спали, прикрытые разным тряпьем, трое на деревянных топчанах, — двое по одной стене и третий у окна. Оставалось еще место для четвертого топчана у двери. На подоконнике маленького окошка, перекрещенного толстой решеткой, стоял репродуктор. Из него тихо доносилась прозрачная грусть гурилевского колокольчика.

Я удивленно слушал этот далекий голос из прекрасного мира, невольно думая, будто кто специально именно в эту минуту для меня пел эту песню.

Вошел охранник, втащил топчан, бросил мешок с соломой и ушел.

«И замолк мой ямщик, а дорога предо мной далека-далека...» — с глубокой, негаснущей грустью затихала песня.

Тревожные мысли овладели мною. Сидел, оглушенный тем, что произошло за какие-то два последних часа. Уже давно умолк репропдуктор, давно наступила ночь, а я все сидел, низко опустив голову. Перебирал все, что было до этого дня.

С шести лет в памяти осталось многое.

Отца от Петрокоммуны послали в Сибирь «на заготовку и отправку ненормированных продуктов в адрес Петрокомпрада».

Ехали мы в «теплушке» — так тогда называли товарный вагон с круглой печкой и трубой, выходившей напрямую в крышу. Кроме нас — отца, матери и меня с братом — ехало еще несколько семей с детьми, сотрудники отца. В вагоне все время что-то варили, жарили, потому что печка была маленькая, на ней еле умещались кастрюлька и чайник. К тому же еще и стирка, и тут же, в вагоне, натянув веревки, сушили белье.

Поезд то мчался напролет, останавливаясь только на больших станциях, и то на такой короткий срок, что еле успевали набрать кипятку, то вдруг застrevал на каком-то глухом полустанке; наш вагон отцепляли, загоняя на запасный путь, и тогда отец бежал к «железнодорожным властям», показывал свое удостоверение, и нас прицепляли к первому отходящему составу, и мы мчались дальше. Случалось, что никакое убеждение — в Питере голодают пролетарии — и само удостоверение не помогали, и тогда отец брал из бочонка «НЗ» (неприкосновенный запас) — несколько селедок, проклиная на чем свет стоит взяточников, шел опять к начальству вокзала, и вскоре наш вагон содрогался от сильного удара в буфера, — с печки на пол летели чайник или кастрюлька, раздавался испуганный детский плач, — и это означало, что вагон прицепили и мы едем.

А поезд уходит все дальше и дальше. В двери теплушки — они широко раскрыты — виден необъятный мир с горами и лесами, с речками и степями, с деревнями, с шумными городами. Весело было ехать в таком вагоне, а тут еще кудлатый щенок с черным пятном на одном глазу, с мягкими большими лапами. Его подобрал на какой-то станции отец. Ему везло на собак, или, вернее, собакам на него. Мальчишкой вечно возился с ними: зимой запрягал в санки и лихо катался по улицам своего села. Эта привязанность к животным сохранилась у него на всю жизнь: увидит ли бездомную кошку или бродячую собаку, непременно приведет домой. И всех собак, невзирая на их принадлежность к полу, называл одинаково: Бум. Щенка тоже назвал Бумом.

Все ребята, сколько нас было в вагоне, возились с ним, гоняли под нарами, ловили, и вдруг щенок, удирая от кого-то, заигравшись, выскочил из вагона, шмякнулся о сухую землю, вскочил, но даже не побежал за вагоном, будто все сразу понял, и остался один в неоглядной пустой степи.

— Ах ты, пассажир проклятый! — сожалел отец. Грубо он никогда не ругался, а вот только так, необычно — «пассажир проклятый». О нас, ребятах, и говорить нечего — жалели страшно.

Как добирались со станции до Полтавки, затерянного в степи села, выпало из памяти. Помню, был уже вечер, и мы в какой-то просторной избе, и хозяйка, толстая тетка, сует мне в руки круглую горячую лепешку с картошкой и ласково называет ее «шанежкой».

Часто вижу в нашем доме отца в кожаной куртке, перехваченной в поясе широким ремнем, и на ремне в желтой кобуре наган. Замечаю встревоженные глаза матери, хмурые лица петрокоммуновцев. И среди

них — дядю Костю Дорофеева. Однажды он пришел утром, когда мы с братом были в постели. Поглядел на нас, улыбнулся, показав длинные желтые зубы, как патроны в обойме, потянул носом вкусный запах из кухни и складно сказал:

— Нынче праздник, воскресенье, вам лепешек напекут, и помажут, и покажут, а поесть-то не дадут.

И я сразу поверил ему, потому что было воскресенье и мать пекла лепешки, и я с нетерпением ждал, когда они будут готовы, и мне так стало обидно, что я чуть не заплакал.

Он был помощником у отца. Обычно рабочий день у него начинался так.

В маленькую комнату, в которой он сидел за столом, входил местный житель.

— В чем дело, товарищ труженик земли? — спрашивал его Дорофеев.

— Чайку бы осьмушечку. Все, что указано товарищем Ворониным, выполнено. Хлеб свезен на станцию.

— Стоп! — тут же раздавался голос дяди Кости. Он быстро вскачивал, припадая на правую ногу, подходил к просителю, вскидывал руку и запевал: «Вставай, проклятьем заклейменный...» — Подтягивай, подтягивай! Пой! — заставлял он жителя. Тот неуверенно, еще не понимая, зачем это, начинал подтягивать. Голос дяди Кости звучал сильно и торжественно, голос жителя порой стеснительно, порой совсем не в лад.

Заслушав пение в нашей избе, прохожие останавливались на улице, подходили поближе к окну. Глухое Зауральское село. Петропомуновцы первыми туда принесли дыхание революции пролетарского Петрограда. Несли, кто как умел. Дядя Костя Дорофеев умел так. Сельчане посмеивались над ним, но относились уважительно. Что-то было в его поведении ни на каких властей не похожее, доброжелательное, хотя и диковинное.

Допев «Интернационал» до конца, дядя Костя говорил:

— Что хлеб свез, это хорошо, чай получишь и все другое, что полагается, но что «Интернационала» не знаешь, всемирного гимна трудового народа, — плохо. Силы своей не сознаешь. Получай документ! — Дядя Костя передавал жителю записку на склад. Житель благодарил и облегченно переводил дух на улице, а из окна уже снова разносился слова «Интернационала» — дядя Костя Дорофеев решал очередное дело.

Это было в том же девятнадцатом году, в той же Полтавке. Дядя Костя уехал в соседние села. Время тогда было суровое, — по стежням рыскали банды из зажиточного крестьянства. Прошло больше недели, а дяди Кости все не было. Отец встревожился, поехал на розыск и верстах в пяти от одного из сел натолкнулся на шест, торчавший посреди дороги. Что заставило его остановиться, а не объехать его, трудно сказать, но, видно, было какое-то предчувствие. Отец вылез из саний и стал разгребать намет снега.

Под снегом, с распоротым животом, наполненным пшеницей, лежал Дорофеев.

Привезли дядю Костю к вечеру, поместили в бане, чтобы оттаял, чтобы можно было положить в гроб. И я в страхе смотрел на скрюченную фигуру, белевшую в банным полумраке на полке, с поднятыми руками.

Хоронили Дорофеева в ясный морозный день. Красный, словно окрашенный кровью, гроб несли на плечах. Впереди с непокрытой головой шел отец. Ветер забивал ему в волосы снег. На медных трубах играли бог весть какой судьбой занесенные в Полтавку два музыканта. Померневшие от холода, они согревали руками медные наконечники труб. Непередаваемо грустные звуки разносились по всей Полтавке, и, казалось, от них еще сильнее мороз и глубже скорбь.

Потом не раз приходилось мне слышать этот шопеновский марш, так гениально выразивший трагедию расставания живых с уходящим в небытие.

На другой же день после похорон отец поехал в то село, где был Дорофеев. Вернулся через неделю, в сопровождении десятка бедняков, с обозом хлеба.

— Измучилась я, — плакала мать, — чего только не передумала. (Ей не было и тридцати, а уже первая седина пробилась в густые черные волосы.)

— Зря. Все хорошо, — возбужденно, еще не остыv от той жизни, в которой пробыл неделю, сказал отец. — Если разъяснить людям, они все поймут. Главное — разъяснить, а не трясти мандатом. Угроз люди не любят.

— Похудел ты, — жалела мать.

— Ходить легче, — смеялся отец.

И только много позднее рассказал матери, как зло и настороженно встретили его в том селе.

— Думал, не выберусь живым. Уж больно обозлились они на Дорофеева. Круто он завернул, считай, чуть ли не всех поставил против себя. Заставлял под «Интернационал» сдавать хлеб. Но тяжело, очень тяжело расстается с хлебом зажиточный крестьянин.

И опять пропадал неделями в окрестных деревнях с продотрядом.

С того дня, когда привезли дядю Костю, я стал бояться степи. Начиналась же она сразу за селом — ровная, снежная, с темными шарами перекати-поля.

Еще страшнее она для меня стала, когда оттуда же, из ее глубин, привезли убитого парня. Это был первый комсомолец в Полтавке, работающий в райпродкоме. Его нашли голого, привязанного к столбу, изрубленного шашкой.

И снова отец шел впереди, с непокрытой головой. Нес вместе с другими красный гроб. И снова играли два трубача. И всю дорогу до кладбища кричала и стонала мать убитого...

Помню больного отца. Он в постели. На улице весна, и я забежал на минутку, но что-то удержало меня, — может, изменившееся лицо отца или что-то было в его взгляде.

Я подошел к нему:

— А что у тебя болит?

Он потрепал меня по волосам:

— Иди, играй...

Это было в Кургане.

На станции готовился к отправке эшелон хлеба. К вагонам из риг и амбаров подвозили все новый и новый хлеб, собранный в окрестных селах и деревнях. Всю ночь шла погрузка. Отец вместе со всеми носил на спине пятипудовики. Он был силен, мог по два мешка таскать на спине через пути от подводы к вагону. Когда уже все было погружено и паровоз стоял под парами и вот-вот должен был тронуться в путь, к отцу подвели двоих — старика и парня. В нескольких верстах от станции они разбирали путь, чтобы пустить состав с хлебом под откос.

Отцу предоставлялось «право ареста и предания суду трибунала всех лиц, не исполняющих его распоряжений и тормозящих проработку».

Старик стоял, опустив голову. Парень же все оглядывался, и я думал, что он ждет кого-то на помощь. Вокруг стояли петрокоммуновцы и местные, работавшие на погрузке.

— Зачем разрушали путь? — спросил отец.

— А затем, что супостат ты этакий! Не ты сеял наш хлебушко, пошто увозишь?

Отец никогда не отличался жестокостью и не был грубым. Он только кичнулся головой в осуждение и спросил парня:

— Ну, а ты чего? Тебе сколько лет-то?

Парень не ответил, только еще быстрее стал вертеть головой, словно кого-то отыскивая в толпе. Был он с лица худ, с плоской, как доска, грудью, с громадными запястьями рук. Видно, не мало уже потрудился за свои какие-нибудь двадцать лет.

— А ты меня спрашивай, а его не трожь, — глухо сказал старик. — Васька, внучок мой последний, как скажу, так и сделает.

Не помню уже, кто сказал из петрокоммуновцев:

— Чего ты с ними толкуешь, товарищ Воронин, или не видишь, какая сволота зеленая! Передавай в трибунал, и дело с концом!

Старик зло взглянул на него, а парень растерянно улыбнулся.

— Жалко мне этого парня, пассажира проклятого. Темен он, если б знал, что к чему, на нашей бы стороне стоял, — отец что-то еще хотел сказать, но тут, расталкивая толпу, пробилась к нему молодая женщина и повалилась в ноги.

— Это все он, все он, старый... И Ваську научал, и проклясть грозился, — задыхаясь, быстро заговорила она.

— Цыц ты, язвия б тебя, полухнутая, — прикрикнул на нее старик. — Домой, домой ступай да с маткой живи дружно, теперь на нас надежи не полагайте.

Молодая после этих слов еще сильнее запричитала, но старик пнул ее ногой и закричал на отца:

— Чего представление устраиваешь? Веди куда следовать!

Отец понимал — преступление совершено тягчайшее. Не заметь, и поезд пошел бы под откос... Он посмотрел на парня. А тот с жалостью глядел на жену и — странно — успокоился, будто только и хотел повидать ее в этот горький для себя час.

— Может, отправить их в Челябинск, — помедлив, сказал отец.

— Это зачем же? — подозрительно глядя на отца, сказал петрокоммуновец. — Жалко, товарища Дорофеева нет, у него революционное чутье было острее, чем у тебя, товарищ Воронин.

— Арестовать! — сказал отец.

Их увеличили. И тут же паровоз дал гудок, вагоны дрогнули, звонкий лязг пробежал по буферам, и поезд пошел.

С отцом начало твориться что-то неладное.

Вижу зимнее утро. За окном черно. На столе желтый огонек светильника. Проснулся я оттого, что мать настойчиво зовет отца. Но он лежит недвижно. Мама кричит, тормошит его, но он будто и не слышит.

— Да что же это! — в отчаянье говорит мама.

И я, и братишко Леня стоим возле нее, плачем и кричим:

— Папа! Папа!

И откуда-то возникает маленький, сухонький старичок — местный фельдшер. На стуле, рядом с кроватью, лежит какая-то машинка. Фельдшер сует отцу в руки медные стержни, что-то делает с машинкой, и по ее кругу начинает двигаться стрелка, и руки отца оживают, их выворачивает, крутят, но отец по-прежнему лежит неподвижно, словно мертвец. Глядеть на это страшно, но я не могу оторваться, трясусь, всхлипываю, и вдруг отец подымается, и фельдшер тут же выключает машинку.

— Что это со мной? — не сразу приходя в себя, спрашивает отец. Фельдшер говорит какое-то мудреное название болезни.

— Да, нервы, конечно, никуда, — говорит отец, — главное, все слышу. И как ты меня зовешь, и как ребята плачут, а ничего не могу, даже пальцем не шевельнуть...

— Менять, менять обстановку, — твердо говорит фельдшер. — Иначе разобьет паралич!

Не этой, а другой ночью прибежал посыльный Володя Полуярков: к нам двигалась банда. Мать металась по избе, а отец, как и в тот раз, лежал недвижно. И опять фельдшер включал свою электрическую машинку, и опять она выкручивала руки отца, пока он не очнулся. И, не спрашивая Володю, — все слышал, знал, о чем тут говорили, — сразу же сказал:

— Приготовь лошадей, Володя, надо увозить ребят и женщин. Всем остальным к станции!

Ночная степь. Она запомнилась мне на всю жизнь. Много потом я видел степей и читал про них, но никогда не забуду ту, чужую, враждебную степь, в которой убили Дорофеева, убили первого комсомольца райпродкома, ту, по которой мчали нас лошади. Ни звезд, ни неба — мгла во все стороны, и только смутно чернеют крупы лошадей, да качается перед глазами согнутая спина молоденького Володи Полуяркова, да мать, прижимающая нас к себе; и ветер, и снег в лицо, и всюду глухая, черная пустота, и на небе ни единой звезды, будто мы мчимся в пропасть.

А сзади слышится топот, доносятся крики.

— Володенька, Володя! — плачет от страха мать.

— Нас убивают, убывают! — кричим мы с братом.

И до сих пор не знаю, как выдержали наши сердца и разум.

— Стой!

Их было двое. Они обжали с боков сани.

— Володька, черт! — крикнул один из них.

— Евдокия Михайловна, это мы! — крикнул другой. — Возвращайтесь назад.

Оказывается, при первых же выстрелах петрокоммуновцев банда рассеялась, и отец послал верховых, чтобы вернуть семьи назад.

А через неделю из Челябинска прибыл взвод красногвардейцев, направленный на подкрепление продотряду. Вместе с ними пришло указание отцу сдать дела и ехать на работу в Кустанай.

Запомнилась пыль в этом городе. Зной. Запомнился большой дом на краю улицы, в котором разместилась контора и наша семья, просторный двор и неработающая паровая мельница с длинным подземным ходом, где так удобно было прятаться от «палочки-застукалочки».

В Кустанае я пошел в первый класс. Ни тетрадей, ни бумаги, ни карандашей не было. Писали палочками на снегу. В классе сидели не раздеваясь — школа не отапливалась.

В доме часто звучало слово «реквизит». Это было разное барахло, изъятое из буржуйских квартир и особняков: салопы, платья со шлейфами, фраки, бархатные камзолы, шелковые пеньюары, кружевные покрывала, льняные скатерти с фамильными гербами и уйма всяких других вещей, в большинстве своем ненужных людям нового времени. Весь этот «реквизит» менялся на хлеб и кожу. Цен на «реквизит» никто не устанавливал, да и невозможно было установить, — меняли, торговались, стараясь за каждую тряпку получить от местных богатеев как можно больше. Это называлось «товарообменом». Иногда в шутку — «товарообманом». Никаких ревизий в то время не было — все на честности и сознательности. В Питере — голод!

Еще с утра появлялись на дворе покупатели. Иногда приезжали богатые киргизы на верблюдах — предлагали бараны и лошадиные шкуры. Отец показывал «реквизит». Начинался торг. Я вертелся тут же и не раз видел, как киргиз с важным видом шествовал к своему верблюду в черном сверкающем цилиндре, неся на спине тюк выменинного тряпья, а за ним плыла, распустив длинный шлейф, собирая чуть ли не весь мусор со двора, его жена.

Обычно на складе помогал отцу Володя Полуярков. За все мое детство у меня не было такого ласкового товарища. Ему было лет восемнадцать. Но сколько еще в нем шумело неотыгранного детства!

Он был сирота. После той памятной ночи, когда мы уносились по степи, Володя стал особенно близок нашему семейству.

Мы с братом были от него без ума. Он умел делать все: лук со стрелами, рогатки, ходули, змея с погремушками и «почтой», находить в степи птичьи гнезда; собирая со всей улицы мальчишек и затевая игру в «белых и красных», и сам носился на палке, изображая буденовца.

Отец часто уезжал в командировки, брал с собой и Володю. В такие дни мы с братом не знали, куда себя девать. Все было неинтересно. Но стоило только ему вернуться, как мир преображался. С восторженным криком я несся навстречу и повисал у него на шее.

— Я и сам без тебя заскучал, — признавался он, — зато время не зря пропало, научился у старика киргиза силки ставить на зайцев. Вот пойдем завтра и поставим: поймаем зайца, будет у нас жить.

— Сегодня поймаем! Сегодня! — тут же начинали мы тянуть его с братом за руку.

— Да подождите, — угомоняла нас мать, — дайте хоть поесть ему, да и отоспаться надо, вон как осунулся.

Володя ласково улыбался матери:

— Это верно, отдохнуть надо. Две ночи не спал, охранял «реквизит».

Зайца нам поймать не удалось. Но зато в силки попал сурок. Черноглазый, с маленькими ушами, пушистый. Сколько у нас было радости и восторга, когда мы принесли его домой! А сколько хлопот он нам доставил! Ночью начал свистеть. Первым проснулся отец. И тут же проснулась мать. Сурок на несколько минут притих. Они стали засыпать. Но снова раздался свист, и тут сурок разошелся. Оповещали ли он своих друзей, какая беда с ним стряслась, звал ли на помощь или своим свистом решил довести нас до того, чтобы его выкинули, — кто его знает, но кончилось действительно тем, что отец среди ночи загнал его в угол, накрыл мешком — он огрызлся — и выбросил в окно.

— Ну пассажир проклятый, как он свистел! — смеялся утром отец. — Ты уж, Володя, больше таких зверей в дом не носи...

Не помню, как это получилось, но Володя все реже стал с нами играть, все чаще где-то пропадал по вечерам. И вдруг его арестовали.

О том, что случилось с ним, и тогда и много позднее говорили в семье, и мне все хорошо запомнилось.

К Володе пришла первая любовь. И как уж это вышло — сам ли надумал или «матаня» выпросила, — но он подарил ей из «реквизита» шелковое платье. «Матаня» стала в нем щеголять, дошли слухи до ЧК, и Володя был арестован.

— Вот пассажир проклятый, — озабоченно сказал отец. — Придет-ся выручать. — И поехал к уполномоченному ЧК Аверченко.

Разговор у них был острый, но победил не отец.

Аверченко, бритоголовый, с расплывшимися по костистому лицу усталыми глазами, сурово выслушал отца.

— Освободить, говоришь? Это за что же?

— Глупый он еще, с ребятами в хоронушки играет...

— Мягкий ты, товарищ Воронин. За малым большого не видишь. Этот твой «глупый» сегодня за свою любовь продал честь петрокоммуновцев, а завтра за подходящий куш продаст дело революции... «В хоронушки играет...» Доверял ему ключи от склада?

— Доверял.

— Тем хуже; значит, на твоих ослепших от доверия глазах он украл. Я и тебя бы засадил, если бы не знал высоких рекомендаций как о честном партийце. Но предупреждаю, наводи порядок, не то смотри!

— Не делай из муhi слона, товарищ Аверченко! Да и не следовало

бы тебе со мной так разговаривать. Или ты думаешь, что я меньше тебя предан делу партии?

— Значит, меньше, если не видишь, что рядом с тобой делается... Ты думаешь, пролетарии Питера дали вам всякие товары, чтоб вы тут делишки свои обделывали? Рабочие голодают, получают по осьмушке хлеба, а они тут своим шмарам щалка дарят, — он так и сказал «щалка». — Защитничек!

— Да ты что?.. Ты думаешь, что говоришь? — вскричал отец. — Чего ты кадило тут раздуваешь?! Ну неправильно поступил мальчишка, за это ему надо портки снять и крапивой настегать, пассажира проклятого, да и девчонку заодно, чтобы не толкала на это. Не с тем борешься, товарищ Аверченко!

— Я знаю, с кем надо бороться! И не тебе меня учить! Врагов везде хватает, другого и не распознаешь, вроде и честный, а в нем враг сидит... Но я всех выявлю!

— Если будешь выявлять таких, как Полуярков...

— Да что ты с ним пристал! — вскинулся Аверченко. — Лучше сразу прикончить гниду, чтобы из нее не выросла вошь. И не встречай не в свое дело, товарищ Воронин. Дознание ведется... За каждую соломину надо шлепать гадов, чтобы не подрывали основ нашей молодой республики!

— Освободи Полуяркова! — уже не требуя, а прося, боясь за его жизнь, сказал отец. — Я же знаю его...

— Плохо знаешь! Знал бы получше, не допускал бы к складу.

Володя был расстрелян.

— Сироту, глупого мальчишку расстреляли из-за какой-то тряпки. Зверье проклятое... И ты не мог его защитить, — плача, сказала мать.

Мы с братом о расстреле Володи не знали. От нас скрыли, пожалели. Не знали мы тогда и того, что отец послал письмо в Челябинск о незаконных действиях местного ЧК. В Кустанай выехала специальная комиссия. Она вскрыла немало фактов произвола, творимого Аверченко. На вопросы следователя он отвечал четко. Да, самолично выносил приговоры о расстреле! За что? За спекуляцию, за воровство, за саботаж, за все, что шло во вред молодой республике.

Был суд. И на суде Аверченко держал себя уверенно. Он был не один, с ним вместе судили и его двух помощников, таких же убежденных в своей правоте, как и он. И только под давлением фактов, большой речи секретаря губкома, в которой тот разъяснил весь вред, какой был нанесен молодой Советской республике местной ЧК, Аверченко дрогнул.

— Своими беззаконными действиями, неоправданной жестокостью вы подрывали веру народа в дело революции! — обвинял Аверченко секретарь губкома.

«И тут, — рассказывал отец. — Аверченко вскочил, закричал: «Я не хотел этого! Не хотел!»

— Это не снижает вашей вины! — сказал председатель челябинской ЧК.

— Я не хотел вреда нашей власти, — глухо повторил Аверченко. — Не хотел... Но если все обернулось так, то нет мне прощения! Нет! Тогда я сам себе говорю: достоин высшей меры социальной защиты! — И тут же вытащил из кобуры маузер и застрелился.

За ним пытался покончить с собой его помощник, но того успели разоружить...»

— А почему же у них оружие было? — спросил я, когда мне уже было пятнадцать лет.

— Доверяли, — ответил отец.

— Как доверяли, ведь их же судили?

— Ну что ж, если бы даже его приговорили к расстрелу, Аверченко не стал бы обороняться. Свой был, не враг...

Тот большой и, пожалуй, самый главный период жизни отца остал-

ся там, в Сибири. Время ожесточенной борьбы сменилось мирным строительством. Петрокоммуновцы выполнили свой долг. И вот мы опять в Петрограде. Но теперь для меня город уже во всем размахе. Мне девять лет, я далеко не тот мальчуган, который уезжал из него, мало чего понимая. Теперь я гляжу во все глаза. Все мне интересно, все для меня ново.

Звенят трамваи, мягко подскакивают на резиновых шинах легкие пролетки, потряхивают гривой тяжеловозы-битюги. Нет-нет и промчится глянцевитый, черный, как жук, автомобиль с большими фарами-фонарями. Носятся мальчишки с сумками через плечо, звонко кричат: «Красная вечерняя газета!» На перекрестках стоят милиционеры, показывают руками, куда ехать. На магазинах большими буквами «ПЕПО» — Петроградское единое потребительское общество.

Предполагалось, что отец получит работу в Петрограде, но Смольный направил его на организацию кооперации в Плюссы.

Жилье нам никто не предоставил, пришлось снимать комнату. Сдал нам ее в своей квартире шапочник, прозванный за малый рост — Митя-фунтик. Весь верстак у него был заставлен деревянными гладкими, до блеска отработанными болванками. Мать как увидала их, так и зашлась в хохоте.

— Ой, не могу... как плешиевые!

— А вы не смейтесь, здесь и ваша есть, — назидательно сказал ей Митя-фунтик и ловко измерил голову маме сантиметром. — Вот она, — указал он на одну из болванок и с гордостью закончил: — Нет такой головы, на которую бы не было у меня болванки.

Когда отец закончил работу в Плюссе, его направили в Старую Руссу — там налаживать кооперацию. Мать не хотела срывать нас со школы, и отец уехал опять один. Выполнил там порученное задание — Смольный тут же направил его на организацию кооперативного дела в Новгородскую область. Тут уж мы поехали вместе. Мать боялась, как бы отец за такие долгие разлуки не отвык от нас.

Крестцы. Сколько таких городков на русской земле! Большая площадь с белой церковью. На главной улице несколько каменных домов с магазинными помещениями в нижнем этаже — дома бывшего купечества. Больница. Школа. Улицы, улочки, прогоны, по обеим сторонам которых вплотную стоят дома, домики, домишкы с огородами и садами. В сарае пожарного депо в летние вечера показывали фильмы. Тогда они были «немые», и каждый фильм сопровождался игрой на рояле, и всегда находился добровольный чтец текстов, причем выкрикивал так громко, будто все были глухие. Достопримечательностью Крестцов был дурачок — здоровый мужик, ходивший зимой босиком. У него были красные, словно обваренные, растоптанные ступни.

В Крестцах из октябрят я был принят в пионеры.

А через несколько дней — неприятность. На большой перемене забежал в уборную. Там полно ребят и один из них — мой сосед по парте Евгений Онегин, детдомовец, подкидыш, названный в честь Пушкина, — курил. Следом за мной вошел пионервожатый. Ребята разбежались, а я остался.

— Кто курил? — принюхиваясь, спросил меня пионервожатый.

— Не знаю, — ответил я.

— Неправда. Ты должен был видеть. Кто курил?

— Не знаю.

— Скажи честное пионерское! — Пионервожатый глядел мне прямо в глаза, не мигая. — Пионер не может врать!

Я не мог произнести честное пионерское. И не мог врать.

— Ты молчишь. Значит, ты знаешь. Кто курил? Пионер должен говорить правду!

И я сказал.

До сих пор не могу забыть этого пионервожатого, не помню его ни имени, ни фамилии, заставившего меня предать Женьку Онегина.

С Женькой ничего не случилось — вызвали к завучу, пожурили, что взьмешь с детдомовца, на том и кончилось, только Женька сразу догадался, кто его выдал, и перестал дружить со мной.

Была закончена работа в Крестцах, и получилось так, что отец оказался не у дел. Все же решили вернуться в Ленинград. Сначала родители, а потом, когда устроятся, возьмут и нас с братом. А до этого на все лето в Любим, к бабушке, к маминой маме.

Любим — небольшой городок в Ярославской области, разделенный на две части рекой Обнорой. Когда-то я в нем родился, но мать вскоре увезла меня в Питер, и с тех пор я там был всего один раз. Шла первая мировая война. Жить было тяжело — отец на фронте, и мать поехала в Любим, к своей матери. В дороге я заболел. Только-только успели добраться до дома, как от отца из госпиталя пришло письмо. Он был тяжело ранен, просил мать приехать. И она поехала, оставив меня, больного, у бабушки. Было мне два года.

«Если уж помрет, — плача, сказала мать, — то и похороните без меня».

«Бом! Бом!» — играл я в колокола. И бабушка крестилась и просила бога, чтобы он не забрал меня к себе. Надоедало играть в колокола, и я кричал: «Блины! Блины!» — и бабушка пекла блины и кормила меня ими, наперекор фельдшерскому запрету, и как я выжил, этого никто не знает. А был у меня «кровяной понос».

Нас с братом поселили в горнице, наверху. Золотое наступило для нас время. Спали мы сколько хотели, ели вволю и носились по полю, играя в футбол, купались в узенькой речушке Уче, запускали змея, а в ненастные дни сражались на кухне в домино.

Однажды прибежал к нам соседский мальчуган Володя и еще у порога закричал:

— Идемте в поле, кресты покажу!

Мы побежали за ним. Неподалеку от дороги, на ровном месте были вырезаны в дерне большие православные кресты. Мы робко глядели на их.

— Кто же это? — спросил Леня.

— Этого никто не знает, — ответил Володя. — Все говорят о крестах, а кто вырезал, не знают.

Дома мы рассказали бабушке.

— Не иначе кто напоминает нам, грешным, чтоб усерднее молились...

Такого морщинистого лица, как у моей бабушки Матрены Яковлевны, я ни у кого не видел. Оно было все иссечено вдоль и поперек, даже толстый, рыхлый нос был исхлестан морщинами. На седой голове всегда у нее был ситцевый стиранный-перестираный повойник, из-под которого виднелась тощенькая кукушка с вплетенным темным шнурком. Глаза смотрели кротко и ровно, будто все радости и горести уже не трогали ее. Толстая нижняя губа тряслась. Как-то я спросил, отчего это?

— Эх, батюшка, как же не трястись. Двенадцать у меня было, а осталось всего четверо. Первенький-то, десять лет было, утонул в колодце. Ледяной водой, милый, из этого же колодца и отливали меня. А через год другое случилось — сгорел мой старшенький. Подсушивал зерно на гумне да и заснул, и не заметил, как взялось строение. А кто от глотошной умер. От воспры. А Устья уж замужем была, так ее, тяжелую-то на девятом месяце, муж ногами бил. Умерла Устья. Плакал он, по полу катался, как пропрэзвел... Ой, милый, всякого было...

Приходил с «железки» дядя Коля, мамин брат. Он на станции работал кузнецом. Был еще у мамы брат — дядя Саша. Но он не жил в России. В тот год, когда Финляндия отошла, он уехал на родину жены Анни, финки по национальности. И с тех пор ничего о нем не было известно. Писем он не писал.

В Любиме я по-настоящему пристрастился к чтению, обнаружив в кладовке кучу книжечек, приложение к газете «Гудок». Лучшего занятия я не находил, чем сидеть в дождь у окна и читать. За окном льет, небо ненастно, на улице и в поле ни души, и незаметно летят страницы за страницами, рассказывающие мне о незнакомых людях, о их жизни. Но вот небо проясняется, выходит солнце, и я несусь на улицу. Там уже Леня, и мы с ним мчимся по мокрой траве в поле. Нам хорошо, дышится легко. И играм и движению нет конца.

В Ленинграде мы поселились в полуподвальной квартире на улице Декабристов. В узкой комнате с окном на улицу. Одна из боковых стен потела перед ненастьем, и мы могли безошибочно предсказывать погоду. Кроме сырости, в нашем жилье была еще одна неприятность — на кухне водились черные тараканы. Были еще и крысы.

В квартире, кроме нашей комнаты, было еще три. Две из них занимал отставной царский полковник Филиппов с женой, сыном и дочерью. В четвертой комнате жил Бушуев Серафим Павлович, скрипач, женатый на старшей дочери полковника.

Полковник — небольшого роста старик, всегда аккуратно одетый, побритый, пахнущий одеколоном. Жена его была подчеркнуто вежлива и неразговорчива, как человек, который постоянно носит в себе несбывшиеся надежды. На кухне она всегда была в чистом переднике и резиновых перчатках.

Удивительный у них был сын, Андрей. Казалось бы, в такой семье и — убежденный, непреклонный партиец. Был он очень серьезен, лет двадцати семи, высок ростом. По заданиям партии он часто отлучался в область на пропагандистскую работу в деревню. С моими родителями был сдержан. Но однажды остановил на кухне отца и сделал ему выговор за то, что видел его подвыпившим.

— Вы же коммунист. Почему вы пьете?

— Во-первых, не пью, а выпиваю, — попробовал отшутиться отец. — А потом, что же, коммунисту и выпить нельзя? Он тоже человек, как и все...

— Нет, коммунист в этом смысле не имеет права быть таким, как все, и вы должны это знать. Ленин таким не был.

Отец смущенно покашлял в кулак.

— Конечно, ты прав, — сказал он, — но жизнь так у меня складывается, что другой раз и выпьешь...

— Философия слабого, — жестко сказал Андрей, твердо и безо всякого сочувствия глядя на отца.

— Ну, это ты того, так бы не следовало со мной говорить, — сказал отец, — ты еще молод со мной так говорить...

— Я с вами говорю как партиец, и возраст здесь совершенно ни при чем. Своим поведением вы позорите партию!

— Я ничего плохого никому не делаю, — притих отец, — выпиваю — это верно, но не шумлю, не оскорбляю... И ты напрасно так со мной, ты еще в школу бегал, а я уже с кулачеством боролся.

— Тем более не имеете права пить. Я сегодня продолжаю борьбу с кулачеством, а вы... Вы мешаете мне! — Андрей резко повернулся и ушел.

— Вот пассажир проклятый, — недоуменно, с обидой сказал отец, и в последующем, когда приходил домой выпивши, то старался так незаметно проскользнуть по кухне в нашу комнату, что даже черные тараканы не слышали.

Да, отец стал выпивать. Он ни на что не жаловался, никому не говорил, но что-то его угнетало.

Бесной двадцать восьмого года Андрей Филиппов был убит в поле, неподалеку от одной деревни. Его привезли в Ленинград. Хоронили торжественно, с почестями.

Вечером отец, подвыпив, горестно сокрушался:

— Настоящий был партиец! Большой человек вышел бы из него...

Вскоре после смерти сына Филипповы уехали на другую квартиру. Это нам позволило занять одну из их комнат.

С получением второй комнаты жизнь у нас стала более упорядоченной. В одной — родители, в другой мы с братом. Мать была довольна. Отец работал заведующим отделом в только что открытом Доме ленинградской торговли. Мы с братом учились. Правда, не все ладно у нас вышло со школой. В Рыбницах, как и в Крестцах, не преподавали немецкий язык, и брат из-за этого вместо девятого сел в седьмой класс, а я опять в шестой. Мало того, надо было догонять своих одноклассников, и мне пришлось ходить к учительнице — она преподавала в нашем классе — и платить рубль за урок.

— Я уверена, что ты через пятнадцать уроков догонишь своих товарищ, — сказала она. И верно, не прошло и двух занятий, как в классном журнале против моей фамилии появилась тройка, хотя писать по-немецки я еще не умел. После этого, по наивности, я решил, что мне достаточно только ходить на дополнительные занятия, платить за каждый урок по рублю и совсем не заниматься дома. Через шесть уроков, получая то тройку, то четверку, я сказал матери, что больше мне ходить «к немке» не надо, что отметки у меня в порядке, что я всех догнал и нечего зря расходоваться, чему мать была рада — жили мы, еле-еле сводя концы с концами.

Но радость ее была короткой. Снова и прочно в классном журнале против моей фамилии появился «неуд». К этому прибавился еще «неуд» по обществоведению, и я остался на третий год в шестом классе. После таких «успехов» в учебе оставалось только идти на биржу труда.

Там встал на учет, и о чудо! — меня направили на учебу в фабзавуч. Экзамены. И я зачислен на токарное обучение. Буду токарем по металлу!

Меня встретил металлический завод с его громадной территорией, со множеством цехов, с внутренней железной дорогой и паровицом, толкавшим составы, груженные чугуном, сталью, громадными валами, с его проходной, через которую каждый день входили и выходили тысячи рабочих; и молодых и старых, и мужчин и женщин, одетых пестро и все же неуловимо одинаково.

Торжественно и протяжно гудел гудок, и весь завод, вся громада людей приступала к работе.

В фабзавуче все было интересно: и работа в мастерских, и учеба в классах.

Там сдружился я с ребятами — детьми рабочих, там вступил в комсомол. Там стал токарем. Оттуда ушел на Адмиралтейский завод в заклепочный цех.

— Что же ты умеешь делать? — удивленно глядя на меня, уж больно я был мал ростом, спросил мастер цеха.

— Все! — ответил я.

— А вот такой болт с квадратной нарезкой сможешь сделать?

— Смогу!

Он мне поставил в наряде четыре часа. Я сделал за три.

— Молодец! — сказал мастер цеха и принял токарем по ремонту.

В отличие от металлического завода здесь было больше воздуха, простора — рядом безбрежно колыхалось взморье. В серые туманные дни вода казалась тяжелее, а если был ветер, волны угрюмее, но в солнечные — взморье сверкало, плескалось, и волны становились как стеклянные.

В обеденный перерыв я любил подолгу глядеть на этот водный простор. Он манил меня, звал в новую, совершенно неведомую жизнь. Но гудел гудок, и я возвращался в цех.

Мой станок находился у кипятильника «титан». То и дело к баку подбегали взмокшие от пота, с разгоряченными лицами горновые и

прессовщики и жадно, большими глотками, так что кадыки прыгали вверх и вниз, пили остуженную воду. И по тому, как торопливо они пили, и по тому, сколько человек в смену прибегало к баку, можно было судить о том накале, который владел рабочими.

Прошел год, и дядя Сережа уже был мне по плечо. «Эк как ты вытянулся!» — удивился он. И к Первому мая дал мне рекомендацию в партию.

За этот год я успел не только освоиться в цехе, но и поступить на курсы подготовки в вуз. Давней мечтой моей матери и отца было, чтобы мы с братом стали инженерами.

Сутки у меня складывались так: после ночной смены (я работал только в ночную, так было удобнее для учебы) приезжал домой, спал три часа — и за учебники. В пять вечера уже сидел на курсах. В десять у Петропавловки купался, чтобы набраться свежести перед ночной сменой. В половине двенадцатого, точно по гудку, приступал к работе. До половины восьмого. В начале девятого — дома, до полудня сон, и снова подготовка к занятиям, и снова курсы, и снова работа, и так изо дня в день шесть месяцев.

И как итог, как награда самому себе — поступление в Горный институт. Мать была счастлива. Отец гордился. Еще бы — я в Горном, брат в Путейском. Мечты родителей сбываются. Но... все чаще стал отец прихварывать, жаловался на боль в желудке, на изжогу и, чтобы утишить ее, пил соду. Он исхудал и как-то сразу постарел, хотя ему не было еще пятидесяти лет, — ворот рубахи стал широким, глаза запали, выдвинулись скулы.

— Говорят, язва... Курить запретили настрого...

У него появилась какая-то странная манера с удовлетворенным вниманием глядеть, как мы с братом едим, будь то во время обеда или завтрака.

— Что уж ты так уставился-то! — оговаривала его мать.

— Да так я... так... — смущенно отзывался он.

Тогда это вызывало раздражение: «Чего смотрит нам в рот?», но теперь, в изоляторе, мне стало понятно: наверно, знал, что дни его сочтены, и в этом любовании здоровых аппетитом сыновей, а мы любили с братом поесть, было то, что примиряло его со смертью. И чем мы были здоровее, тем было отраднее ему.

По вечерам он сидел в уголке дивана, смотрел, как мы с братом готовим домашние задания. Иногда подходил к столу, брал то один, то другой учебник, читал названия.

— Трудно?

— Да нет, не очень.

— А вот мне не довелось поучиться... Правда, «Вопросы ленинизма» я хорошо проштудировал. Ты еще не осваивал? — это он меня спрашивал.

— Нет. Мы сейчас «Капитал» Маркса изучаем.

— А-а, — уважительно протягивал отец. — Ну-ну, пойду, не буду мешать...

Но не пришлось мне стать горным инженером. По окончании первого курса — а окончил я его на «четыре и две десятых», средняя годовая отметка, — меня направили по спецнабору, как партийца, в авиашколу. (Я был кандидат в члены партии.) Нужна была в армии, как нам объяснили, «красная интеллигентская прослойка». А если точнее — грамотные парни.

Я прошел две комиссии. Мандатную и медицинскую. На медицинской заявил о своем заикании, — по здоровью я шел на летный состав. Тогда меня направили в технический. И я был зачислен в ленинградскую военную школу на авиатехника.

Мать расстроилась. Плача, попросила отца, чтобы он пошел в Смольный, поговорил с кем надо, чтобы оставили меня в Горном институте.

Но отец не пошел.

— Тут уж ничего не поделаешь, мать, партдисциплина, — сказал он. — Значит, так надо.

Поздно вечером, когда отец, сморенный болями, уснул, мать сказала:

— Поди, Сережа, в Смольный. Скажи там, что отец у тебя бывший петрокоммуновец, совсем больной теперь, и что мечтал он, чтобы ты стал инженером. И пусть они оставят тебя в Горном институте. Не может такого быть, чтобы не посочувствовали.

Конечно, никакого желания быть авиационным техником у меня не было. Горный инженер — это да! А что техник? И я пошел в Смольный. В справочном узнал, что по таким вопросам принимает секретарь обкома Позерн.

Он принял меня за своим столом стоя. Пожилой человек, с сединой в волосах, быстрый в движениях. Внимательно выслушал меня и тут же гневно вскипел:

— Не понимаю! Партии надо, чтобы ты пошел в военную школу. А ты что, не хочешь?

— Я не могу... я хочу быть горным инженером.

— Ты пойдешь и будешь учиться там, где тебе прикажет партия!

— Но я хочу... я не могу... — все же стараясь как-то объяснить, стал говорить я, но Позерн перебил меня:

— Тогда клади партийный билет! Но помни, помни, — затряс пальцем Позерн, — получишь волчий! Иди! Вон отсюда!

Спецнабор состоял из студентов первого и второго курсов институтов и третьего и четвертого курсов техникумов. Нас могли отчислить из школы только «по суду и по смерти». Таков был приказ начальника Военно-Воздушных Сил РККА Алксниса.

Наверно, такой спецнабор был очень нужен, но я никак не мог это связать со своим нежеланием учиться. И поэтому настроение день ото дня все хуже. Все горше от сознания, что не буду горным инженером.

«Напра-во!», «Нале-во!», «Равняйся!», «Становись!», «Разойдись!» По вечерам в красном уголке наиболее активные выпускают стенную газету. И я рядом с ними. И кто-то из них говорит, хорошо бы дать стихи. И я пишу раешник, и он появляется на шестиполоске.

— Это вы, товарищ курсант, сочинили стихи? — спрашивает меня командир роты.

— Я.

— Тогда приказываю написать пьесу к Октябрьским праздникам из жизни курсантов нашей роты. Ясно?

— Но я никогда не писал пьес.

— Выполняйте! Кругом! Марш!

И я сижу и пишу пьесу, освобожденный от строевых занятий. Мне помогает курсант Лаппо. Он пишет в стихах вступление, а я пьесу. Сидит курсант в саду с девицей, обнимает ее и восторженно говорит: «А луна-то, луна, что мишень стометровая!» После чего опаздывает в свою часть. Это должно быть очень смешно. Особенно когда дежурный по роте заставляет его отдавать рапорт. И еще несколько коротких сценок. И вот уже появляется режиссер, начинает что-то согласовывать со мной. Курсанты разыгрывают мои сценки, и вроде бы действительно становится смешно...

— Воро-нин, к дежурному по части! — криком объявил дневальный.

«Зачем это?» — недоумевал я, спускаясь по лестнице к дежурному курскому.

Он о чем-то разговаривал по телефону. Прикрыл трубку рукой и спросил:

— В чем дело?

— Курсант первой роты Воронин прибыл по вашему приказанию.

— У тебя умер отец, — посерьезнев, сказал курском. — Поезжай домой. Отпуск на трое суток.

Умер отец... Он лежал в Максимилиановской больнице. Два раза я был у него. В первый — рассказал о своей пьесе, и он попросил, чтобы я принес показать. Я обещал и забыл.

— Что же ты это, а? — укорил он меня, когда я пришел во второй раз наведать его. — А я всю неделю ждал.

— Ладно, принесу в следующий раз, — беспечно ответил я.

Следующего раза уже не было. Он умер после операции. Говорили, язва желудка, а оказался — рак. Посмотрели и, ничего не тронув — все было поражено, — зашили разрез.

— Ты знаешь, даже и не почувствовал, так хорошо сделали, — часа за два до смерти сказал отец матери.

Но мать обо всем уже знала и, скрывая слезы, старалась ободрить его:

— Значит, скоро поправишься...

— Надо, надо, совсем что-то расклеился... — Он задумался и печально сказал: — Мало я тебя баловал, а ведь любил. Всегда любил, и никого нет дороже, чем ты... Жаль, жизнь была тяжелая...

— Ну что уж так... хорошо жили...

Она пробыла с ним до последней минуты. Отец забылся, похоже было — уснул, только время от времени нервно вздрагивал и тогда открывал глаза и из какого-то своего далека смотрел на нее угасающим взглядом.

За несколько минут до смерти отец неожиданно ясно посмотрел на мать и четко сказал:

— Устал! Устал!

За гробом шло немного народа: мать, я с братом, соседи по квартире, родственники да еще несколько человек с последнего места работы отца. В пути к нам присоединился еще один, в полувоенной форме: хромовые комсоставские сапоги, фуражка и драповое черное пальто. Кто он, я не знал. Мать шла, опустив голову.

Было холодно. Ветер беспокойно метался по улицам. Когда переходили Дворцовый мост, на Неве была сильная волна, — ветер дул навстречу течению. Все небо было затянуто серой мглой.

Мы медленно продвигались за катафалком. Еще задолго до Смоленского кладбища стали попадаться торговки с венками из бумажных цветов и хвои. Человек в полувоенной форме купил венок.

Нищие, завидя катафалк, гуськом пристроились к провожающим. Неподалеку от часовенки лошади остановились. Гроб сняли и понесли к свежевырытой могиле.

— Надо бы усопшего отпеть, — сказала старуха-нищенка. — Что это, как нехристя хороните.

Ей ничего не ответили, и тогда она громко затянула молитву.

— Не надо, — сказала ей мать. — Не любил он этого.

— Прощайтесь, — сказал могильщик, пропуская под гроб веревку.

— Разрешите сказать несколько слов, — неожиданно сказал человек в полувоенной форме и придвигнулся к гробу. Ветер шевелил его седые волосы. — Я знал Алексея Ивановича по совместной работе, — негромко стал говорить он. — Мы с ним были посланы, вместе с другими товарищами, от Петрокоммуны в Сибирь...

— Господи, кто это? — чуть ли не со стоном вырвалось у матери.

— Мало нас нынче осталось — петрокоммунцев, но завидна, хотя и нелегка была наша доля! — все в таком же сосредоточенном раздумье негромко звучал голос. — Алексей Иванович выполнил честно и беззаветно свой долг, и это никогда не забудется нами, его то-

варищами. Спи спокойно, дорогой товарищ! Прощай, Алексей Иванович!

— Никак Пеночкин? — все пристальнее вглядываясь в незнакомого, тихо сказала мать, утирая слезы.

— Я это, Евдокия Михайловна...

Посыпались первые горсти земли, застучали о крышку гроба. Рванул ветер, и тут же по всему кладбищу поплыла прощальная тоска шопеновского марша. В нем звучала мерная тяжелая поступь колонн прекрасных людей, идущих на бессмертный подвиг, звучало завывание леденящего степного ветра, и боль слышалась в нем, и горькие слезы потерь...

Кого-то неподалеку от могилы отца хоронили с музыкой.

Во всей стране проходила партчистка. Была она и у нас в роте. Разоблачили двоих — сына лавочника и сына антоновца из Тамбовской области. Удивительно, только что они были наши, свои, но разоблачены, и мы совсем уже по-другому смотрим на них. Как на чужаков, просочившихся в наши ряды. У них тут же отобрали партийные билеты.

«С желанием учишься?» — спрашивал каждого курсанта председатель комиссии, коммунист с дореволюционным партийным стажем. Спросил и меня. Мне бы сказать правду: «Нет у меня желания», — но я смалодушничал, чего-то испугался и сказал: «Да». Сказал не сразу, подзамялся, но это не поимело никакого значения. Впрочем, вряд ли что изменилось, скажи я «нет», только могло бы осложнить мне жизнь.

Спустя некоторое время почему-то решили нашу школу реорганизовать в школу техников по вооружению. Тем, кто не хотел быть вооруженцем, а предпочитал учиться на авиационного техника, предлагалось уехать в Вольск в авиатехническое училище. Я решил уехать. Нет, не потому, чтобы стать авиатехником — я уже твердо решил: учиться не буду, — а для того, чтобы все, что со мной случится, было подальше от матери. Я готов был отслужить в любом роду войск, но не мог смириться с тем, чтобы стать на всю жизнь военным. Я не мог подчиниться тому, что не вызывало во мне никакого интереса, что шло наперекор всем моим устремлениям. Такое насилие над собой, я понимал, все равно ни к чему хорошему не приведет.

Есть разные натуры. Одни со временем смиряются с неблагоприятными для них обстоятельствами, втягиваются и тянут лямку до конца дней своих, попивая с тоски по неудавшейся жизни; другие пытаются в создавшихся неблагоприятных для них условиях найти то, что могло бы их примирить с нелюбимым делом, и находят, и уже в этом найденном видят смысл существования; третьи не могут ни втянуться, ни найти, — что же, встречаются и такие натуры, и тогда они, не щадя себя, идут напролом. Была небольшая надежда, что в Вольске, может, что-то для меня изменится, но нет — все было так же, с каждым днем пребывание в авиашколе было для меня нетерпимее. Правда, кто знает, не мечтай я стать горным инженером, не учись в институте, не вспоминай о своих товарищах-студентах («вот они в институте, а я здесь!»), может, и не так остро переживал бы свое новое положение.

В первой роте, в которую меня зачислили в Вольске, кроме курсантов-«студентов», было немало ребят с фабрик и заводов, не отличавшихся особой грамотностью. Так что уж в этом смешении где-то терялся смысл «красной интеллигентской прослойки». Но не это, конечно, было главным в моем решении.

В один из мартовских дней я отказался от учебы. Не встал в строй. За что был посажен курсовым командиром на трое суток на гауптвахту.

Не знаю, на что я рассчитывал, — может, думал, что меня все же отчислят? Не отчислили. По истечении трех суток я снова отказался встать в строй, за что был посажен командиром роты уже на пять суток. После отсидки пяти суток был вызван начальником школы Яку-

бовым, с тремя ромбами в голубых петлицах. Вели меня под конваем. Один спереди, другой сзади. Начальник школы долго убеждал меня не бросать учебу.

— Не губите себе жизнь, — сказал он, — если скучаете по девушке, отпустим, поезжайте, а то и женитесь, привозите сюда.

— Нет у меня девушки.

— Может, по матери соскучились. Дадим отпуск на месяц. Стипендию выплатим. Проезд бесплатный. Вернетесь, и все будет хорошо. Окончите учебу. Станете младшим лейтенантом, а там пойдете в гору. Способности у вас есть.

— Я не хочу учиться.

— Послушайте, я вам говорю еще раз, — чуть ли не жалея меня, сказал начальник школы, — подумайте. Не отвечайте сразу, сейчас, дайте себе возможность все взвесить и обсудить. Наконец, поезжайте к матери, посоветуйтесь с ней.

— Нет, я не буду учиться. Не могу!

Тогда он вызвал охранников и скомандовал:

— Пятый патрон в ствол! В случае побега стрелять!

На другой день в роте было партийное собрание, и меня исключили из кандидатов в члены партии.

Приказом начальника школы я был посажен на гауптвахту на двадцать суток. Началось отчисление «по суду».

— У тебя дядя за границей? — допрашивал меня следователь.

— Да, но я об этом писал в анкете.

— Где его письма?

— У нас нет связи с ним.

— А что за дядя, о котором тебе пишет мать?

— Это дядя Коля, брат отца. Он на Кольском полуострове. В заключении.

— За что он сидит?

— Не знаю... Вроде за воровство.

— Ну это мы установим. Так когда получили последнее письмо от того, который за границей?

— Я же сказал, у нас связи с ним нет.

— Кто твои товарищи по роте?

— У меня нет товарищей.

— Такого быть не может. Кто твои товарищи?

— Вся рота.

— Кто тебя научил так отвечать?

— Никто.

— Почему не хочешь учиться?

— Не хочу быть военным на всю жизнь.

Он меня допрашивал несколько раз. 14 апреля и 15-го судил меня военный трибунал 12-го Стрелкового корпуса. Сначала обвиняли в отказе от службы в Красной Армии, но я не отказывался служить. «Я готов отслужить в любом роду войск, что положено советскому гражданину!» — заверял я трибунал. И, наверно, это звучало убедительно. Тогда на другой день выступил военный прокурор. Он обвинял меня в контрреволюционной агитации и требовал применения 58-й статьи (пункт 10). И меня осудили по этой статье Уголовного кодекса на восемь лет, с отбыванием срока в исправительно-трудовых лагерях.

Долго я сидел на расшатанном топчане, думая, что меня ожидает впереди. Думал о матери, как она все это примет, и решил до поры до времени не писать. Еще успеет настрадаться. Давно уже замолчал репродуктор, а сна все не было. Забылся под утро. Очнулся от веселого голоса.

— Э, да у нас новенький! — Передо мной стоял короткий, широколицый пожилой мужик. — За что попал?

— За контрреволюционную агитацию, — ответил я.  
— А ты что, и верно за контрреволюцию агитировал? — сразу насторожившись, спросил он.

— Ну что вы...

— Тогда чего ж болтаешь... На сколько?

— На восемь.

— Крепенько. Ну ничего, в лагерь попадешь, там день за два зачитывают. Но все же года четыре отмантуйти предстоит. Ты прибери здесь, а нам пора на работу.

И они ушли. За решеткой окна виднелось небо, оно медленно разгоралось, обещая хороший день. Я долго глядел на него. В голове было пусто, никакие мысли не тревожили меня, — все, что должно было совершиться, совершилось, и теперь уже дальнейшая судьба мало от меня зависела. Я подмел камеру и только хотел было умыться, как вошел комендант изолятора, среднего роста, мрачноватый человек.

— Идем, — кивнул он на дверь.

— Куда? — спросил я, и тут же понял, что спрашивать в моем положении не следует. И действительно, комендант не ответил.

Во дворе было пусто — заключенных уже вели на работу, с Волги доносились весенние гудки пароходов. Густо забасил цементный завод.

Комендант привел меня в дежурку. Там сидел мой защитник, суевийский, в поношенном демисезоне, пожилой человек.

— Вот, прочтите кассационную жалобу, — сказал он, доставая из потрепанного портфеля бумагу.

Я вспомнил, как робко он вел себя на заседании военного трибунала, как пытался защищать меня, но из этого ничего не вышло.

Нет, это, конечно, была не кассационная жалоба, а скорее вопль, мольба о снисхождении, чтобы простили, пожалели мою молодость. И ни слова не было в ней протеста против несправедливого приговора.

— Вы совсем не то написали, — сказал я ему. — Ну откуда я мог стать антисоветским агитатором, если у меня отец петрокоммуновец? Если я был октябринком, пионером, комсомольцем, вступил в партию. Вот об этом надо написать. И еще то, что я в фабзавуче учился, работал токарем на заводе...

— Ну что ж, попробуем написать так, как вы хотите. В конечном счете это ваше право. Но я все-таки просил бы о снисхождении в силу вашей молодости. Может, и пожалеют.

— При чем здесь жалость. В чем меня обвинили, я не виновен. Вот об этом и надо написать.

Защитник написал.

В вольском изоляторе я пробыл недолго. Вскоре нас, человек пятьдесят, погрузили в «пульман» и повезли в Саратов.

И там, в Саратове, всю ночь наш вагоностоял на запасных путях, только рано утром, когда город еще спал, повели в СарФЗТК — Саратовскую фабрично-заводскую трудовую колонию. Сюда нас и привели. В просторном дворе, огороженном высоким каменным забором, стояло несколько больших и малых зданий. К одному из них, самому крупному, нас подвели и довольно быстро распределили по камерам.

В моей было человек сорок. Двумя окнами она выходила на узкую уличку. Окна были открыты, и в них легко и свободно доносился уличный шум. У окон толпились заключенные, смотрели сквозь решетку на волю.

Я остановился у входа, не зная куда приткнуться. Все топчаны были заняты, лежало тряпье и на полу возле стен, у печки, и оставалось только незанятое у дверей. Я вымешал в коридор окурки, прилипшую грязь и сел на чемодан.

В камере шла обычная жизнь: кто играл в карты, кто, накурив-

вшись «башпана», лежал и дико всхохатывал, кто чинил проходившуюся одежонку.

Ночью из открытых окон тянуло в дверь сквозным ветром. Надо было отодвинуться, но некуда, и я проснулся с тяжестью во всем теле. Знобило. Днем в каком-то полузабытии ходил к жестяному бачку с теплой водой, пил и не мог напиться, и валился на свое место, мешая ходить. Кто переступал через мои ноги, кто отшвыривал, — я поджимал их, но томила жара, я метался, и снова кто-то с силой отбрасывал мои ноги с прохода.

Три дня ломал меня грипп. По вызову старосты несколько раз приходил ко мне лекпом, давал какое-то лекарство, велел старосте определить меня на топчан, подальше от окон. И пришел я в себя уже лежа на топчане. На моем месте у дверей лежал «шакаленок», как называли мелких воришек.

Осмотрев камеру, я увидел Дубова — его я встречал прежде. Он сидел на топчане возле окна, курил. Обрадовавшись ему, как родному, я, испытывая головокружительную слабость, прошел к нему и попросил закурить. Ничего тогда мне так не хотелось, как курить.

Дубов хмуро посмотрел на меня.

— Вшей-то на тебе, аж наружу вылезли. Отойди-ка, — презрительно оттолкнул он меня.

Я вернулся к себе, лег и только тут почувствовал, как по всему телу идет зуд. Не знаю, как бы ото всей этой гадости освободился, но всех нас погнали в баню.

Шум и гам наполняли предбанник. Все, кроме кожаной обуви, сдавалось в дезокамеру или, как ее называли тут, «вошебойку». Подходили голые к окошку, сдавали свою одежду с фанерной биркой, на которой значилась фамилия. После этого шли к парикмахеру. Тот быстро, одной и той же машинкой, снимал волосы с головы и лобка.

«Это чтобы сразу было видно, если кто сбежит. Поглядел туда-сюда, и картина ясная, — кто-то весело пояснял. — Не иначе к этапу нас готовят».

Я сдал одежду в дезокамеру, но никак не мог подойти к «цирульнику» — так его называли зэки. Ужасно было представить, как его грязная машинка коснется моей головы. Попытался пройти в мыльную, но меня не пустил зэк, выдававший каждому по маленькому кусочку мыла. И тогда я забился в угол, надеясь, может, и минует меня «чаша сия».

Я уже порядком нагляделся всякого за короткое время пребывания в заключении. Но эта сторона жизни только еще открылась и впереди предстояло еще многое повидать и испытать. И главное — познать. Тут был особый мир, со своими порядками, и мне как новичку многое было в нем интересно, несмотря на то, что и многое было унициально.

Открылась дверь, и в предбанник вошел шикарно одетый человек лет тридцати. На нем были желтые «джимми», темно-синий бостоновый костюм, фетровая шляпа. Он был в пенсне с золотой тоненькой цепочкой, прикрепленной к нагрудному карману, из которого торчал угол голубого платка. Он огляделся, отыскивая свободное место, и, постелив газету, стал раздеваться.

Я с удивлением глядел на пришедшего, не зная, что и подумать о таком щеголе. А он спокойно, будто пришел не в тюремную баню, а домой, снял пиджак, аккуратно сложил его и перекинул на спинку скамьи. Пиджак тут же утянули «шакалята». Щеголь развязал галстук, вынул запонки, — все это по мере поступления на скамейку «шакалята» убирали. Я хотел было предупредить новичка, но один из них погрозил мне кулаком, и я только вздохнул. А новичок продолжал беспечно раздеваться. Он был, видимо, настолько доверчив и неопытен, что даже не замечал, что происходит с его одеждой. Снял ботин-

ки, и ботинки тут же исчезли. Пришедший посидел немного в трикотажном шелковом белье, поглядел на всех и медленно снял нижнюю рубашку. И тут я увидал и на груди, и на руках, и на спине татуировку. Синие змеи переплетались с голыми бабами, русалки обнимались друг с другом, был кинжал, вонзенный в сердце, и многое другое, что сразу отличило его от всех заурядных уркаганов. (К слову сказать, не все крупные воры так изукрашивали себя. Были и совершенно без татуировки.)

— Мосин! — как вздох пронесся шепот по предбаннику. И мгновенно на спинке лавки появился пиджак, на лавке галстук, запонки, рядом с ними сложенные брюки. Словом, все, что было утащено, было возвращено.

Мосин встал и, ни на кого не глядя, минуя цирюльника, пошел в мыльную. Зэк, сидевший у дверей и не пропускавший никого нестриженного, подобострастно улыбнулся Мосину и дал ему два кусочка мыла.

Народу в предбаннике становилось все меньше.

— Ты, иди сюда! — подозвал меня цирюльник.

Я сделал вид, будто не слышу. Тогда цирюльник подошел ко мне.

— Ты что, глухой?

— Не буду.

— Как это не будешь? А ну!

Но на меня нашло что-то такое, что я скорее готов был пойти на все, чем подчиниться этой унизительной мерзости.

— И не подходи! — сказал я ему.

— Эй, вохровец, этот парень отказывается, — крикнул цирюльник охраннику, стоявшему у входных дверей.

Охранник подошел ко мне.

— Ты чего? — спросил он меня.

— Не буду.

— Эй, кто тут, возьмите его, — громко сказал охранник, обращаясь к тем, кто еще не побывал у цирюльника.

Двое с готовностью вскочили и пошли ко мне.

— Только посмейте, — сжимая кулаки, пригрозил я.

— А, возьмись с тобой, — сказал охранник и кинулся на меня, но я успел отскочить.

Нет, есть необъяснимое в жизни. Я не знаю, чем бы все это кончилось, но в предбанник вошел зэк и громко крикнул:

— Воронин здесь есть?

Я вздрогнул и растерянно поглядел на него. Этого было достаточно, чтобы вохровец схватил меня.

— Есть здесь Воронин? — еще громче крикнул зэк. В руке у него была какая-то бумага.

— Я Воронин! — вырываясь из рук вохровца, крикнул я и кинулся к нему.

— Имя, отчество?

— Сергей Алексеевич.

— Пляши, пофартило тебе, — зэк, как потом выяснилось, посыльный из канцелярии, отдал мне бумагу. Я впился в нее глазами.

«Военный трибунал Приволжского военного округа в составе председательствующего Иевлева и членов Алексеева и Захарянц, рассмотрев в заседании от 10 мая 1934 года кассалобу гр-на Воронина Сергея Алексеевича на приговор ВТ ХП с. к. от 14—15 апреля 1934 года, по делу Воронина, обвиняемого и осужденного по ст. 58—10 УК к лишению свободы сроком на восемь лет в ИТЛ, без поражения в правах, заслушав доклад тов. Алексеева, заключение Воен. прокурора ПРИВО тов. Иевлева,

о пределил:

С переквалификацией действия Воронина на ст. 193—12 п. «а» УК и с определением, в связи с этим, лишения свободы в три года ис-

правительно-трудовых лагерей, без поражения в правах, приговор оставить в силе.

По социальному положению, как об этом свидетельствуют материалы дела, Воронина считать рабочим, о чём внести изменения в приговоре.

Одновременно исключить из приговора следующие фразы как необоснованные: со слов «по поручению членов партии...» до слов «будучи недоволен учебой...» и со слов «когда же этим не достиг...» до слов «на основании изложенного»...

Датой совершения преступления считать — январь — март 1934 года.

#### *Копия верна».*

В первые минуты меня охватила такая ликующая радость, что я даже засмеялся, и когда ко мне приблизился цирюльник, то не только не стал сопротивляться, а сам подставил голову: «На, стриги!»

— Ну вот, а ты не хотел стричься, дура, — добродушно сказал цирюльник. — Сколько же тебе скинули?

— Пять лет, и статья другая. Осталось всего три года.

— Ну вот... А три года — это раз, два, три и все. А что же это за статья?

— Уклонение от службы в армии, — пояснил зэк из канцелярии.

— Но я же не уклонялся, — только сейчас подумав об этой новой статье, сказал я.

— Если б не уклонялся, так я бы тебя и не стриг, — сказал все так же благодушно цирюльник. — Ну, иди мойся, ты теперь чистенький, как дите.

Наверно, надо бы еще раз кассировать. Ведь я же не отказывался служить в армии, готов был в любом роду войск отслужить сколько положено. Об этом я и на следствии, и начальнику школы Якубову, и на суде говорил. Но, вспомнив чей-то рассказ о том, как один касировал и как ему все набавляли сроки, отбросил эту мысль. Мало ли, а вдруг новая комиссия вернется к первому приговору? Нет уж, лучше не испытывать судьбу, тем более что статья совсем другая, не та страшная, а срок, что такое три года: «Раз, два, три и все!»

На следующий день всю нашу камеру вывели на этапный двор. Вышел кто с чем: у кого холщовый мешок, набитый тряпьем, кто с узлом, в котором подушка и утирка с ложкой, мало кто с чемоданом или баулом, а были и такие, что с кошмой под мышкой да кисетом в кармане. Двор был окружен охраной. Стоял усиленный караул у ворот.

Посредине двора за столом сидела комиссия по отбору заключенных — тюремное начальство, начальник будущего этапа и врач. Отбор проходил быстро. Назывались фамилия, имя, отчество. Заключенный подходил к столу. Спрашивали, где родился, когда, статья, срок, — ответы сверяли с формуляром. Врач задавал один и тот же вопрос: «Здоров?» — и если заключенный жаловался на что-либо, то тут же и осматривал его и решал, оставить или отправить по этапу.

Утки стояли обособленно, о чём-то негромко переговариваясь. Среди них шнырял «крыса» — узкоплечий рыжеватый парень, действительно напоминавший крысу своей перебегающей походкой и низким наклоном головы с плоским затылком. Я еще утром видел его совершенно здоровым, сейчас же еле узнал. Под глазами у него отвисали большие отечные мешки, словно наполненные водой; щеки набухли так, что вытянутый нос превратился в зажатую коротышку; верхняя губа вздулась, будто ее накусали пчелы. «Крыса» не хотел уезжать по каким-то своим причинам, и для этого надул лицо. С этой физией в рот под кожу вводится соломинка, и через нее нагнетается воздух и лицо раздувается, словно камера. Врач, осмотрев его, отправил обратно. И «крыса», вихляясь, под хохоток «своих» потащил свое барахлишко в камеру.

К столу вызвали Дубова. Я подошел поближе. Мне любопытно было узнать, за что сидит этот старик, когда-то расположенный ко мне и ставший таким чужим в большой камере.

Дубов, тяжело передвигая ноги, цепко держа одной рукой большой чемодан, а другой объемистый узел с постелью, подошел к столу и низко поклонился.

— Пятьдесят девять пункт три через семнадцатую, — прочитал в формуляре председатель, пожилой, с усталым, нездоровым лицом человек. — Десять лет. Хорош гусь! Ты что же, способствовал бандитам?

— Никак нет, — по-солдатски четко ответил Дубов, выпрямил грудь, но тут же закашлял так гулко и громко, будто сидел в бочке.

— А-а, так это ж «вольское дело», наводчиком был, — воскликнул один из комиссии, — продавал в ларьке пиво и следил за кошельком покупателей. И сообщал своим, а те разделялись, как им вздумается. Два убийства, девятнадцать ограблений.

— Старый черт! — сказал председатель. — Мягко к тебе отнеслись, следовало бы расстрелять.

— Так многие полагали, — покорно ответил Дубов, — но снизошли к моему возрасту, к тому же учли первую судимость.

— Иди налево, в первую группу.

Его обыскали, нет ли ножа или какого оружия, и он примкнул к первой группе.

В ней находились заключенные с большими сроками и особо опасными преступлениями. Во второй с большими сроками, но по статьям менее опасным. И в третьей, в которую попал и я, — с малыми сроками.

Всех построили в общую колонну, по группам. Прозвучало: «Шаг — влево, шаг — вправо считаю за побег!» Конвой взял винтовки на изготовку, и колонна вышла за ворота. Там ее ждали. И сразу же пошли вровень с нею родственники осужденных. Торопливо шагая, они выкрикивали имена близких, подымали руки с узелками для передачи. Конвой не допускал их: «Не положено! — и подгонял растянувшуюся колонну, пестро одетую, идущую вразброс.

Кто-то с тротуара бросил передачу. «Иван, тебе!» — тут же донесся женский голос.

Узелок попал в середину колонны и пошел по рукам, от одного к другому, и дошел в целости до того, кому предназначался.

Я было подумал — охрана кинется отнимать, но нет, только постро же предупредила провожающих и быстрей повела колонну. И тогда провожающие начали перебрасывать узелки и пакеты. «Не положено! Не положено!» — кричал конвой и пытался помешать, но передачи молниеносно исчезали в гуще колонны.

Был уже вечер, когда нас привели на вокзал. Собиралась гроза. По небу, в стороне, вспыхивали молнии, глухо рокотал гром. Охранники засуматошились по перрону, рассовывая по сорок человек в каждый вагон. И первая и вторая группа быстро рассосались по вагонам. Рассосалась и часть третьей. Но на всех не хватило вагонов так, чтобы по сорок в каждый товарняк, и тогда стали рассовывать по три-четыре человека по всему составу. Меня и еще двоих — чернобородого мужика и молодого татарина — сунули в начало состава, в пятый вагон. В первых двух были женщины.

В вагоне было темно. «Под юрцы!» — скомандовал чей-то хрипловатый голос, и я полез под нары, понимая, что лучшего места ни для меня, ни для тех двоих нет. Положил на пол шинель так, чтобы и прикрыться ею, хотя в вагоне было душно. Чемодан раскрыл, — все равно проверят, так пусть берут сразу, а не ломают замки.

Состав вздрогнул и, набирая скорость, быстро пошел от станции. Я лежал и долго не мог уснуть: вспоминал то далекое, когда еще мальчишкой ехал в таком же вагоне с отцом, матерью, братом, толь-

ко тогда лежал на верхних нарах и смотрел в окно, и весь мир открывался мне, ежеминутно меняющийся, неведомый, захватывающе интересный. Теперь тоже неведомый, но он был отгорожен от того мира, и вся моя жизнь была втиснута в эту коробку, наполненную рецидивистами и разным жульем.

Утром, как и следовало ожидать, чемодан был «раскурочен». Даже ложку стащили. Об этом я заявил старосте — Кольке Колхозу, коренастому, плотному, обросшему шерстью по всему телу парню. Он сидел на верхних нарах у окна, в одних штанах.

— Мосол? — спросил он меня.

— Летчик.

— Летчик? — удивился Колька Колхоз. — А ну иди сюда. — Он потеснился. — Рассказывай.

И я стал рассказывать, как учился и как отказался учиться, за что и был осужден. Мой рассказ на Кольку Колхоза произвел самое неожиданное впечатление. Он стал ругать меня, как это я мог совершить такую глупость, чтобы бросить учиться на летчика. И стал фантазировать, что если бы довелось ему, то он бы всех перекрыл, не хуже бы Чкалова стал. Перематюгавшись и в рот и в нос, он согнал одного из своих и устроил меня на его место.

— Это ты зря, Колхоз, делаешь, — сказал исхудалый, большеглазый, с высоким лбом, лет тридцати урка. Казимир Станкевич звали его.

— Ничо, летчик — это хорошо. Пускай, — ответил Колька Колхоз, и я снизу перебрался наверх.

— А вот то, что ты записываешь, это зря. Мы твою тетрадку пустили на «колотушки», — сказал Колхоз. — Ты зачем записывал?

— Я же говорил, — сказал Станкевич.

— Да просто так, дневник это.

— По таким штукам срока паяют. Учи, — сказал Колхоз. И больше к этому разговору не возвращался.

Поезд шел на восток, не останавливаясь на больших станциях и подолгу простоявая на маленьких, затерянных в степях и лесах полустанках.

Раз в день откатывалась вагонная дверь и обслуга из заключенных ставила на пол ведро с дымящейся баландой. Состояла она из вареной сущеной рыбы и капусты. Ведро тут же разливалось под неусыпным оком старосты в два оцинкованных таза. Сорок три человека садились в два круга — каждому кругу по тазу, — и все дружно, сталкиваясь железными и деревянными ложками (мне мою вернули по приказу Кольки Колхоза), мгновенно съедали горячую жижу. По утрам приносили «сахарки», десять граммов каждому, и «горбушку» — шестьсот граммов хлеба. Вечером был чай — два ведра кипятку. Холодная не переводилась.

Днем в вагоне было жарко. Железная крыша накалялась, зэки сидели раздетые, мокрые от пота. Ночью без одеял или какой укрытки было холодно.

Задняя стена вагона, с выходом на буфера, была давно уже подрезана. Урки ждали только удобного случая, когда можно было бы ее выдавить и, выйдя на буфер, прыгнуть в сторону на полном ходу поезда.

Вагон и жил в ожидании удобного случая. Для этого нужна была ночь, темная, безлунная, лес у подножия крутой насыпи. Но как нарочно ночи стояли лунные, поезд шел по равнине, а если когда и приближался к полотну железной дороги лес, то это было днем. Днем же бежать было невозможно — на тамбурных площадках сидели часовые, связанные с начальником конвоя телефоном.

Оттого, что не было подходящих условий для побега, а поезд увозил их все дальше и дальше, урки нервничали, раздражались по пустякам и все чаще скорились меж собой, и все беспощаднее становились друг к другу. Заигрывались в карты и в отчаянье бились головой о железные полосы решетки, перекрывавшие окна, заставляли пить «загравшихся»

по ведру холодной воды за один присест, и «заигравшийся» пил до холдной испарины по всему телу, а потом безостановочно бегал к «параше».

За то время, пока я был в СарФЗТК и теперь в этапе, я вдосталь нагляделся на ворье. Мне были противны их повадки, блатной язык, густая, омерзительная матерщина. Они ничего не делали просто и естественно — всегда с ужимками, с какими-то вывертами. И говорили не просто, а с придухом, скороговоркой. Они хвастались своими похождениями и не верили друг другу.

Для меня удивительное часто бывало рядом. Не знаю, чем все объяснить, но случилось так, что я проснулся рано утром. В вагоне все спали. За окном еще только всходило солнце. И вот в этом розовом освещении вдруг мелькнуло название небольшой станции — «Любим». Это было так неожиданно и так больно, что даже заслезились глаза. Ну почему, что заставило меня проснуться именно в эту минуту? Ведь я же ни о чем таком не думал! Удар был очень сильный. Я долго после этого не мог заснуть, и горько мне было, и безотрадно.

В этапе, как и во всяком пути, люди сближаются, проявляют естественный интерес друг к другу. Тем более, если учесть, что наш этап до места назначения шел больше двадцати дней.

Чернобородый мужик, оказавшийся в моей «тройке», был из раскулаченных.

— Кулаком я не был, — говорил он, — но жить богато мечтал. У нас на всю деревню был всего один кулак. Вот таким я хотел быть. Никого не нанимал. Чтоб вовремя встать, на сенокосе на оглобле спал. Свались, погляжу на небо — рано еще, ну и опять на оглоблю привалюсь. Хозяйство было хорошее. Все отняли. Самого сослали, семью тоже, в другое место. Я на Беломорканале был. Затосковал там, ну и сбежал. Поглядеть на свой дом. Ничего хорошего не увидал. Рамы уже выломаны. Огород зарос бурьяном. Пашня отошла к колхозу, конечно. Я сам и объявился. Пришел в сельсовет, берите, говорю, теперь уж больше не сбегу.

За все время пути он вел себя спокойно. Срок у него увеличился за побег на три года, но это его как-то мало тревожило. Спать ему пришлось до самого конца этапа на полу, под нарами, вместе с молодым татарином, осужденным за то, что дал казенные деньги из кассы отцу на постройку дома. «Батька велел, как откажешь? Слушаться надо!» — объяснял он.

Уже подъезжая к Чите, урки стали готовиться особенно активно к побегу, понимая, что за Читой бежать им не придется: откуда-то стало известно, что туда нас и везут, в лагерь. И уже вот-вот и выломали бы надрез в стене, но опередили «наших», где-то в конце поезда. И висели, словно люстры, осветительные ракеты, и лаяли собаки... Один ушел, а второго поймали. После этого Колька Колхоз уже не обращал внимания на пейзаж за окном. Мы миновали Байкал.

— Ты вот что, летчик, — сказал он мне, — тебя возьмут в ВОХР, так ты, если наш брат станет подрывать, не вздумай стрелять. Пуляй, но в воздух.

Казимир Станкевич не вмешивался. За долгий путь лежания на жестких нарах у него начались пролежни. Он страдал, но свои страдания переносил молча. Впрочем, не у него одного были пролежни. Я исхудал, но, видимо, питание в авиашколе, да и то, что я был крепок, помогли мне доехать здоровым. Правда, хотелось есть. Все время хотелось есть. Был один день, когда я искрошил в миску всю горбушку, растворил в воде «сахарок», залил этим «сиропом» хлеб и стал есть тюрю, и мне казалось, что ничего вкуснее я никогда не ел. И я дал себе слово, как только представится случай, так сразу же сделаю такую тюрю, и буду ее есть до отвала, и каждый день буду есть. Но когда пришла пора съесты и я сделал этапную тюрю, то какой она мне показалась невкусной!

# БАМ

На станцию Урульга, где находился штаб второго отделения БАМЛАГа НКВД, мы прибыли в первой половине дня. Нас уже ждали. Как только остановился состав, сразу же стали откатывать двери. Заключенные, бледные, исхудавшие, медленно вылезали из вагонов.

— У нас летчик! Летчик у нас! — кричал в окно Колька Колхоз. Как видно, он впрямь рассчитывал на меня в случае побега.

Неподалеку от состава стояли столы и на них уже лежали пачками формуляры.

К нашему вагону подошел высокий парень в хлопчатобумажных штанах и фуражке защитного цвета, с карандашом и записной книжкой.

— Что за летчик? Где он?

Колька Колхоз сунул меня к окну.

— Статья? Срок?

Я ответил. И только после этого: «Фамилия?» Записал и отошел к столу с формулярами.

— Охранять будешь нашего брата, — возбужденно говорил зек по кличке Князь, — винтовочку дадут, патрончики. Но ты, гад буду, не трогай наших.

— А зачем мне туда? — как бы и не желая быть в охране, сказал я, зная, как не любят урки «мослов». — Я с вами... Я как все.

— Мы не как все, и ты не как мы. Ты слушай меня, делай, как говорю, — жарко задышал в ухо Колька Колхоз. — Ты хоть и не наш, а свой... Мы тебя знаем. В этапе не подорвали, тут подорвем. Мало ли, встретиться придется.

— Кто тут Воронин? Выходи! — раздалось у вагона.

— Здесь он, тута! — заторопили меня урки, подали чемодан, кинули на руки порыжевшую от дезокамеры шинель.

Я спрыгнул на землю. Шагнул раз-другой плохо сгибающимися ногами. Закружила голова, и небо, и голый холм, и столы скосились вправо. Я закрыл глаза, так постоял какое-то время, и все встало на свое место.

— Сюда, сюда! — звал меня длинный парень. Он уже отыскал мой формуляр. Сверил его с моими ответами и велел встать в сторону. Там стояло человек пятнадцать, отобранных из этапа в военизированную охрану.

Молодцевато поигрывая плечами, к нам подошел подбористый, сухощавый бурят, одетый в хромовые сапоги, галифе и гимнастерку, туго стянутую в поясе широким ремнем с двумя рядами проколов.

— Становись! — весело скомандовал он.

Мы быстро построились, не по ранжиру, а как придется. Бурят вывел из строя одного, другого, переставил и снова скомандовал:

— Равняйся! На первый-второй рассчитайся!

Рассчитались. Построились в колонну по два.

— Шагом марш! — еще веселей скомандовал бурят, и с нами в ногу зашагал от этапа.

— Летчик! — донеслось от вагонов.

Я оглянулся, увидел в дверях вагона Кольку Колхоза, Князя и, чего греха таить, впервые облегченно вздохнул. Весь этот длинный путь опасался я их, если не сказать — боялся.

А бурят шагал и шагал рядом с нами: «Ать-два! Ать-два!» — окидывал довольным взглядом свежеиспеченное подразделение, ловко поворачивался и легко шагал дальше.

Он привел нас к большому бревенчатому бараку, стоявшему на отшибе. Внутри барака были два ряда нар. Под расписку выдал каждому суконное одеяло, наволочку из мешковины и полосатый матрац.

— Сено во дворе, делайте постельки! — весело командовал он.

И мы, полтора десятка заключенных, оживленно переговариваясь, заторопились во двор и стали набивать сеном матрацы и наволочки. А позднее, когда «постельки» были сделаны, наш командир подозревал нас к себе и каждому дал по полбуханки мягкого серого хлеба, по две штуки «иваси» — маленьких жирных селедок, по десятку карамелек и по железной кружке. Не верилось! Мы глядели друг на друга и улыбались, ели жирные «иваси», запивали горячим кипятком, сдобренным фруктовым чаем, а потом курили, не зная, как все это необыкновенное и объяснить.

Звали бурята Чимит Базарон.

— Я сам заключенный, но, как видите, мне доверили не только привести вас сюда, но и командовать вами. Вам повезло. Никто так не живет в условиях БАМа, как военизированная охрана. И мы должны такое доверие и заботу оправдать. Мы здесь пробудем неделю, после чего каждому из вас винтовку вручат, и тогда доверят охрану ответственных объектов и групп заключенных, занятых строительством дороги. С завтрашнего дня мы займемся изучением Устава караульной службы. А теперь вопрос. Кто пришел из армии? Есть такие?

Я поднял руку. Хотя мог бы и не поднимать, он глядел на меня, на мою курсантскую форму.

— Где проходили службу?

— В авиационной школе.

— Будете командиром первого отделения! Кто еще служил?

Вышел человек лет сорока.

— Был помкомвзвода.

— Подойдите ко мне!

Бывший помкомвзвода, как и полагается военному, чеканя шаг, пошел и остановился в трех шагах от Чимита Базарона. Тот с любовью оглядел его и звонко сказал:

— Будете командиром второго отделения! И одновременно моим помощником. А теперь от-ды-хаты! — И, легко повернувшись, вышел. Создавалось ощущение, что ему такая жизнь очень нравится, что он о ней только и мечтал. Что он просто счастлив.

А я долго не мог уснуть. Лежал на сенном пуховике — да, по сравнению с войлочной подстилкой на голых нарах тюфяк был действительно, как пуховик. Да и подушка появилась, до этого спал на чемодане. Лежал и думал, как, наверное, думали и другие, о том, что произошло за день, как неожиданно повернулась жизнь своей добродой стороной.

Урульга — небольшой поселок. В нем жили вольные, местные, и заключенные бесконвойные, у кого срок небольшой, статья не ахти, — они служили в штабе, или на пересылке, или на складе.

Неподалеку от станции возвышалось двухэтажное деревянное здание. Фасадом оно выходило на поселок, задней стеной к привокзальному скверику. В этом здании размещался штаб второго отделения БАМЛАГа. Начальником его был Большаков, тучный, лет сорока пяти — пятидесяти, того характерного вида руководитель, которые были так типичны для тридцатых годов, — в защитного цвета гимнастерке тонкого сукна, в коротких русских сапожках, плотно охватывающих толстые икры ног, с тем сильным и властным взглядом, который, казалось, все видел и все понимал, и с тем голосом, который умел только приказывать. Рассказывали, что Большаков был за что-то осужден, но, отбывая срок на Беломорканале (он и там был начальником), хорошо себя проявил, был награжден орденом Ленина и досрочно освобожден. Теперь он руководил тысячами людей, разбросанных по всему второму отделению, протяженностью в двести километров, от разъезда Тарского и дальше за Зилово, Абкоронду, на восток.

Второе отделение, как, наверно, и другие, представляло из себя сложное хозяйство. В него входило и строительство вторых железнодорожных путей, и сооружение паровозоремонтных депо, вокзалов и дру-

гих гражданских сооружений, были и механические мастерские, и свой мотострой, и пожарная команда, и подсобные сельские хозяйства, и своя агитбригада, и «околотки» — лечебницы, и изоляторы для проникшихся, и фаланги для штрафников и отказчиков, и десятки производственных фаланг, размещенных по обе стороны однопутки, с сотнями заключенных — «путьеармейцев».

Две главные движущие силы были в этом большом строительстве: стремление на волю и «горбушка». Здесь как нигде проводился железный закон: «Кто не работает, тот не ест». И поэтому работали в любую погоду, будь то снег или дождь, мороз или жара, работали по две-надцать часов в сутки, за большую «горбушку», чтобы поскорее освободиться. За ударную работу засчитывался день за два.

Штаб строительства Байкало-Амурской магистрали находился в городе Свободном. Начальником строительства был Френкель. В Свободном выходили газета «Строитель БАМа», журнал «Путьеармеец» и библиотечка, приложение к журналу.

Изучили Устав караульной службы, пообщались, пришли немного в себя после этапа, и нас перевели в роту ВОХРа. Это был большой благоустроенный барак, с двумя рядами заправленных, как в армии, коек, с красным уголком, где были газеты и журналы и играло радио. Кормили здесь отлично. Отношение было уважительное. И все это создавало такую атмосферу, что нисколько не чувствовался лагерь, и если я готов был отслужить свое в армии, то другого подразделения мне было бы не надо и на воле. Меня поставили в караул по охране большого склада. На станции была просторная территория, огороженная дошатым забором, — в ней находилась база второго отделения, и в ней с десяток складов. Карабульская служба ничем не отличалась от такой же службы на воле. На мне была шинель, защитного цвета гимнастерка и штаны, только на уголках воротника шинели зеленела нашивка, говорившая о том, кем является охранник, — з/к. Винтовка была заряжена боевыми патронами. И издали все было как надо.

Я уже настолько привык к своему новому положению, что даже перестал радоваться, как вдруг меня вызвал Чимит Базарон. Из города Свободного пришла бумага, по которой я не утверждался в ВОХРе.

— Жаль, очень жаль, — сказал Чимит Базарон, — но, значит, что-то смущает начальство. Значит, оно не может тебе доверять. Впрочем, тут написано: направить тебя в пожарную охрану. Это уже хорошо. Пожарная охрана тоже военизированная часть. Значит, немного доверяют. Иди туда. Но на всякий случай поешь как следует на нашей кухне. Нигде не кормят так, как в ВОХРе. И возьми мой сахар. Килограмм пятьдесят грамм — целая месячная норма.

— Зачем, не надо, — сказал я.

— Бери. Больше никогда тебе не дам. Жаль, очень жаль, что тебя не утвердили.

Управление пожарной охраны второго отделения находилось в Урульге, в большом деревянном одноэтажном доме, на вершине холма. С этой вершины весь поселок был как на ладони, так что и вышки не требовалось. Он был невелик, скученный к станции и разбросанный по окраинам. Далеко за ним, внизу, текла широкая Ингода. Это по одну, лицевую сторону. Позади дома холмы и холмы, уходящие в даль, беслесные, с жесткой травой, с бессмертниками на черствой земле.

Дом был разделен на три части. В самой большой размещалась пожарная команда. В ней жило человек двадцать пожарных, вместе с начальником команды. В углу стоял небольшой стол с телефоном и дежурным, в обязанность которого входило отбивать каждый час в колокол, висевший снаружи. Чуть в стороне от стола — ряды топчанов с тумбочками. Посредине в зимнее время всегда гудела набитая каменным углем круглая раскаленная чугунка. Из этой комнаты вел выход в сарай, где стояли пароконные хода с насосами, лестницами, бочками и в стойлах сытые холеные лошади.

Вторая и третья части дома — небольшие комнаты. В одной из них, ближней к команде, жил начальник управления пожарной охраны Станислав Николаевич Оскерко, рослый, с крупным подбородком, вытянутым овалом лица, длинным прямым носом, постоянно куривший прямую трубку.

Рядом с его комнатой находилась канцелярия управления. Заведывал ею Жорка Ломоносов, небольшого роста, удивительно смазливый парень, стремившийся уйти из «пожарки» в агитбригаду. И Оскерко и Жорка Ломоносов были заключенные. Оскерко осужден на четыре года, Жорка — на пять.

Как только Жорка узнал, что я учился в институте, то тут же потащил меня в соседнюю комнату к Оскерко.

— Вот, Станислав Николаевич, кто вам нужен по всем статьям, а меня теперь отпустите, — сказал он.

Оскерко с недовольным видом взял мой формуляр, стал внимательно просматривать его, изредка поглядывая на меня.

— К тому же студент, грамотный парень, чего же и лучше, — нахваливал меня Жорка и вертелся перед Оскерко, гримасничая и так и этак.

— Надоели-та вы мне, — не сразу ответил Оскерко. — Ладно-та, убирайся-та!

Жорка Ломоносов от радости подпрыгнул и потащил меня в канцелярию.

— Принимай дела, новый завканц. Тут акты профилактического обследования фаланг. А тут акты контрольного обследования. Тут формуляры всех пожарных всего отделения, свыше двухсот, учти. Вот тебе чернильница, перо, бумага, пиши проект-приказы. И не забывай каждого первого отсыпать отчет в город Свободный, в управление пожарной охраны БАМЛАГа... А теперь все, голубчик, все! — радостно похвачтывал Жорка. — А я на сцену. Кто знает, кто знает, может, из меня выйдет артист. — Он метался по канцелярии, собирая свои вещи. — Спать будешь на моей постельке. Подушка, и одеяло, и простыня казенные, тебе оставлю. Тревоги, как боевые, так и учебные, тебя не касаются, спи спокойненько. Все, голубчик, все! — Он подал мне руку и исчез, чтобы встретиться случайно в Ленинграде, на углу Садовой и проспекта Майорова. Артист из него не получился, работал он на заводе.

В комнате было тихо, светло и чисто. В открытое окно виднелся голый бугор, освещенный солнцем, за ним, далеко-далеко, поросшая лесом сопка, и за ней, еще дальше, синяя полоса тайги. И над всем этим небо, совершенно ясное, чуть обесцвеченное ярким солнцем.

В смежную с комнатой Оскерко стену раздался стук, и я понял, что меня вызывает начальник.

Он сидел за столом.

— Как вас зовут-та? — спросил он, посасывая трубку.

Я ответил.

— Так вот, Сергей-та Алексеевич-та, выпейте-та за нашу совместную работу-та, — сказал Оскерко, подавая мне полный стакан.

— Я не пью...

— А вы пригубите-та. Глоточек-та, — ласково сказал Оскерко.

Я взял стакан, глотнул и тут же почувствовал, как что-то острое засупорило мне дыхание, и никак было ни вздохнуть, ни выдохнуть, из глаз посыпались слезы, грудь сжало. Я задыхался, в ужасе понимая только одно — гибну! И свалился на пол. Спазм удушья следовал за спазмом.

— На, на! — совал мне кружку с водой Оскерко. Я с трудом влил в себя глоток, потом еще, и постепенно удушье отпустило. — Кто ж это так спирт-та пьет? — осуждающе сказал он. — Пить-та его надо так: сначала сделать глубокий вдох-та, потом влить спирт-та, а потом выдохнуть. — Он сделал глубокий вдох, влил в себя стакан спирта, выдохнул, — вот и все-та... — И залпил водой. — А теперь идите-ка работайте.

В канцелярии на моей постели лежал молодой парень, лет двадцати трех, светловолосый, с твердым, ясным взглядом и тонкими губами.

— Это почему так? — спросил я его.

— А потому, что я начальник пожарной команды, а ты писарек. Будешь спать в пожарке.

Звали его Герман Лапин. Если ему верить — его отец работал в Кремле, он мог бы помочь сыну, но Герка не хотел к нему обращаться. Был он толков, отлично чертил — так у него одноконные и пароконные хода были вычерчены на больших листах, что он привел в восхищение начальника пожарной инспекции БАМЛАГа Тора. К Лапину благоволил Оскерко. Мне ничего не оставалось, как переселиться на его койку в пожарку. Но зато в течение всего дня я мог находиться в своей канцелярии. Тут уж я был хозяином.

Для меня все было в новину. Но постепенно разобрался, разложил по порядку номеров фаланг все акты профилактических и контрольных обследований; изобразил нечто вроде дислокации всего второго отделения и пометил против каждой фаланги, сколько раз там проводились профилактические и контрольные обследования. Картина вырисовывалась крайне пестрая. Близлежащие фаланги обследовались часто, дальние — ни разу. Об этом я доложил Оскерко. То, что он узнал, привело его в смятение. (Как видно, он совсем не контролировал работу своего единственного пожарного инспектора по профилактике Григория Шафрана.) В случае пожара на необследованной фаланге Оскерко мог получить дополнительный срок.

Он тут же направил Шафрана на ряд дальних фаланг и собрался сам в командировку.

— Напишите-ка заявку в штаб, чтобы нам прислали еще одного пожарного инспектора, — сказал он, поглядев на Германа Лапина, сидевшего на постели. — Уступите-ка ему место, — сказал Герману, — здесь будете спать вы, — это сказал он мне. — Завтра поедем вместе в командировку.

Профилактическое обследование фаланг в противопожарном отношении ничего сложного из себя не представляло. Жестяные печи в бараках должны стоять в ящиках, наполненных песком. Трубы при выходе из помещения должны быть в железных разделках. Опять же печи на определенном расстоянии от стен. Должен быть противопожарный инвентарь: багры, ведра, лопаты, топоры, швабры, бочки с водой, лом и т. д. Я быстро освоил эту немудреную науку и по возвращении был проведен приказом как пожарный инспектор, а спустя немного был уже старшим пожарным инспектором. И хотя на мое место пришел новый «писарек» — Иван Мокроусов, молодой парень, избивший до полусмерти из ревности соперника, — на этот раз постель в канцелярии осталась за мной.

Грамотные люди всегда нужны. Тем более образованные. Конечно, один курс Горного института — не высшее образование, но все же и такое «незаконченное» отличало от остальных, поэтому на меня КВЧ — культурно-воспитательная часть отделения — взвалила общественную работу. Я стал председателем тройки СиУ — соцсоревнования и ударничества. Кроме того, ответственным редактором стенной газеты управления штаба ВПО — военизированной пожарной охраны — всего отделения, которая называлась «Красный факел». Она делалась просто. Фанерный щит, разделенный на шесть полос, с постоянным заголовком. Корреспонденции поступали из команд и пожарных отрядов отделения. Надо было их переписывать, редактировать, в этом помогал мне рядовой пожарный Бойко, обладавший четким почерком.

Как правило, материала на всю газету не хватало, и мне приходилось самому заполнять шестую колонку. Она была менее деловой и предназначалась для стихов, фельетонов, разной «смеси». И часто случалось так, что я садился и сочинял стихи, которые Бойко тут же переписывал.

Эта газета висела некоторое время в нашей пожарной команде, потом уходила на периферию. Естественно, в ее передовых и других статьях шла речь и о соревновании, и о лучших командах и отрядах, и об отличниках службы.

У нас была отдельная столовая, в которой кашеварил свой повар. Кормили неплохо, но я долгое время после этапа не мог наесться, испытывая все время неотступное чувство голода. Правда, случалось, Оскерко звал меня к себе и там угождал из своего пайка. Как начальник пожарной охраны он получал два пайка — зековский, как и все мы, и свой особый. Ему бы его хватало с лихвой, если бы он не пил, и не менял лучшую его часть на спирт и водку. Обычно утро у него начиналось с того, что он выпивал стакан водки. И потом в течение дня понемногу добавлял, так что, бывало, и с литромправлялся к ночи. Но был здоров, крепок, и хмель на нем мало отражался. По крайней мере, он мог приходить с докладом к Большакову, и тот ничего не замечал.

Ходил Оскерко в длиннополой шинели, высокий, статный, смеялся, не вынимая трубки изо рта. Ему очень нравилось изображать из себя изобретателя. Едем в поезде. Он закуривает трубку, сосредоточенно думает и негромко спрашивает, но так, чтобы слышали сидящие в купе.

— Как вы полагаете-та, Сергей-та Алексеевич, мое последнее изобретение будет воспринято?

Я тут же вступаю в игру и на самом полном серьезе отвечаю, что его изобретение — потрясающая вещь.

— Да, так же и замнаркома находит, — говорит Оскерко. — Меня вызывают в Москву, но у меня времени-та нет.

— Надо ехать. Вы там необходимы, — говорю я.

Пассажиры внимательно прислушиваются к нашему разговору, с интересом глядят на Оскерко, одетого в длинную шинель с малиновыми петлицами, — он не имел права как зек их носить, но носил. Глядел на его удлиненное, энергичное лицо с твердо очерченным, всегда хорошо выбритым подбородком.

— Не знаю, не знаю... — в раздумье произносил Оскерко, — поездка займет недели две, не меньше-та...

Тут кто-нибудь из пассажиров (такой всегда найдется) вступает в беседу, интересуется, чего ж такого изобрел уважаемый сосед, если не секрет, конечно. Объясняться в таких случаях приходилось мне. Оскерко, как истинно талантливый человек, был крайне скромен. Он только сидел, потупя взор, в то время как я нес несусветную научообразную чушь. И чем нахальнее я пользовался всякими техническими терминами, тем убедительнее звучала моя речь для слушателей, — хотя и не вооруженным глазом было видно, что они ни черта не понимают, и тем уважительнее они глядели на Оскерко. А он сидел, положив ногу на ногу, курил трубку и то опускал взор долу, то устремлял его в неведомую, но, надо думать, прекрасную даль, как и полагается устремлять взгляд, по его мнению, настоящему изобретателю.

Лагеря в том представлении, какой мне рисовался в СарФЗТК и в этапе, для меня не было. Я свободно ездил по всему второму отделению в любое время дня и ночи. У меня был документ, по которому все это мне разрешалось. Ездил с Оскерко, ездил один. Составлял акты профилактического осмотра, назначал сроки и при контролльном обследовании, если мои указания не выполнялись, составлял акт о нарушении. А это могло означать разную меру наказания, вплоть до лишения зачетов. Поэтому начальники фаланг относились ко мне как к начальству, которое может сделать неприятность: внимательно-вежливо, стараясь и на-кормить, и всячески выказать свое благорасположение. Хотя в душе-то я понимал, что они не очень жаловали как меня, так и всех пожарных, считая нас «лагерными придурками». И, конечно, в этом доля истины была. Тем более, если сравнивать наш труд с трудом тех, кто давал «кубики», бил кайлом, возил на тачке грунт, создавая насыпь, рыл котлованы. Но и наша работа была нужна. Чем ближе к зиме, к

холодам, тем все чаще стали на фалангах возникать пожары. Третьего января 1935 года на дальней лесообрабатывающей фаланге Абкоронде произошел большой пожар. Сгорел барак и примыкавший к нему клуб. Погибло восемнадцать человек. Третий отдел срочно, среди ночи, вызвал Оскерко.

Вернулся он встревоженный и несколько растерянный. Потребовал акты обследования Абкоронды. Их не было. Видимо, Шафран еще не успел обследовать.

— Где он?

— На периферии.

И мы помчались на открытой дрезине. Мороз стоял градусов на тридцать, и ветер. Я думал, околею в своем бушлате и кирзовых сапогах. Оскерко был в валенках и полушибке. К счастью, на Пашенной удалось пересесть на товарно-пассажирский поезд. Всю дорогу до Абкоронды Оскерко молчал. Стоял в тамбуре и неотрывно глядел в непротяжную темень. Тревожно было и мне. Что нас ждало на Абкоронде? Кто повинен в пожаре и смерти восемнадцати человек? Если только по нашему недосмотру, то вполне вероятен «довесок». Может, об этом думал и Оскерко, ему совсем немного оставалось до освобождения.

В Абкоронде ожидала подвода — легкие саночки с облучком для извозчика. Оскерко сел в санки, я прицепился позади, за спину. Ехали больше часа, и за это время я совершенно окоченел, так что даже не мог сказать «Здравствуйте!» уполномоченному третьего отдела, который нас встретил у ворот фаланги.

Заключенные группами работали у штабелей бревен с высокой дымившей трубой. По всей территории несло гарью пожарища.

Ни слова не говоря, уполномоченный провел нас в сарай, сбитый из горбылей. Двери в нем не было, в широкий проем вяло проникал утренний свет.

Уложенные в ряд, один к одному, с обугленными ногами, с раздутыми животами, обезображенными лицами, в согнутых позах, лежали трупы. Оскерко, побледневший, нервно раскуривал трубку.

— Причину пожара установили? — сорвавшимся голосом спросил он.

— Да. Это они подожгли. Решили бежать, но не вышло.

Барак был большой, поделенный надвое. В одной его части размещалось более трехсот заключенных; во второй, меньшей, был клуб. «Головка» решила бежать через клуб. Для этого надо было подрезать стену, и в то время, когда основная масса хлынет в единственную дверь барака, охраняемую вохровцами, «головка» проломит подрезанную стенку, проникнет в клуб, выломает дверь и устремится в тайгу. У них заранее были запрятаны топоры и ножи.

— Но они не учли одного, — рассказывал уполномоченный, — накануне дверь в клуб заколотили снаружи горбылями. Они не смогли ее открыть. Кинулись обратно в барак, но там уже вовсю бушевал огонь. И не прошли. Вся «головка» погибла.

— Та-ак... — облегченно вздохнул Оскерко. — Значит, поджог с целью побега. Сергей-та Алексеевич-та, составьте-ка акт.

— Но в поджоге замешан ваш пожарный из караула, Александров, — уточняя дело, сказал уполномоченный. — Он передал бутылку с керосином Кольке Колхозу.

«Кольке Колхозу!» Я вспомнил этап, вспомнил, как этот парень рвался на волю, и вот теперь он здесь, среди этих восемнадцати. Где он? Я переходил взглядом с одного трупа на другой, но опознать Кольку Колхоза было трудно. Были даже безголовые.

Пожарный Александров, замешанный в поджоге, был молодой парнишкой, посаженный за то, что не имел постоянного места жительства и места работы. Приговор выносila «тройка», срок заключения, как правило, — три года. Парнишке было восемнадцать лет. Отца не помнит, мать погуливала, потом вышла замуж. Отчим оказался злым, и парнишка сбежал, бродяжил, и однажды во время облавы его «замели»,

и вот он на Абкоронде, а теперь уже в кандалке, подследственный по новому делу.

— Зачем же ты дал керосин? — спросил его Оскерко.

— Велели, не то, сказали, смараем тебя. Вот и принес. Ты, говорят, жулик... У тебя, говорят, тридцать пятая, обязан слушаться нас... — чуть не плача, отвечал Александров. — Под угрозой смерти...

— Это возможно, — сказал уполномоченный, — но как ты докажешь? «Головка»-то сгорела.

То, что был замешан пожарный, Оскерко не нравилось. Но и тут ему повезло. Оказывается, без его ведома начальник караула взял в пожарные Александрова. Он хотя и послал запрос, не сомневаясь, что Оскерко утвердит, — «тридцать пятая» считалась самой безобидной статьей, — но все же надо было сначала согласовать, а потом уже принимать на работу. Так что у Оскерко настроение поднялось, и когда возвращались в Урульгу, он негромко напевал: «Бежал бродяга с Тахтамыгды звериной, узкою тропой...» В Абкоронде он сам лично провел обследование фаланги, составил акт профилактического осмотра бараков, сделал тьму замечаний и потребовал в жесткие сроки установить песочницы, сделать метр на метр железные разделки, сменил начальника караула. Сидя в вагоне, опять завел разговор о своем «изобретении». В общем, гроза прошла мимо.

Как раз к этому времени из УРО — учебно-распределительного отдела штаба отделения — позвонили, сообщили, что «согласно заявке, пожарный инспектор прибыл с очередным этапом».

Я сходил за ним. Это оказался человек лет пятидесяти, небольшого роста, с длинным, чуть ли не по всему лицу, носом, по фамилии Усачев. Был он из Костромы. В формуляре значилось — осужден за хулиганство, срок — три года.

Пока мы с ним шли от штаба до пожарки, он все пытался доказать мне, что никакой он не хулиган, что произошло какое-то недоразумение.

— Вы напрасно беспокоитесь, по такой статье мы берем в пожарную охрану, — сказал я.

— Но я действительно не хулиган...

Когда Оскерко узнал, за что был осужден Усачев, то долго смеялся, время от времени тыча в него трубкой и приговаривая: «Хулиган... надо же!»

Теперь у нас стало три пожарных инспектора, если считать и меня. Первым был Григорий Шафран, высокого роста, рябой, синеглазый украинец. Прибыл он из Луганска. Работал и на воле пожарным инспектором по профилактике. Был осужден по закону от 7 августа 1932 года за хищение государственной собственности. По этому Указу много было осуждено украинцев в год голода, когда они таскали с совхозных и колхозных полей колосья зерновых на кашу для семьи. Так про некоторых и говорили — за «колоски». Срок был большой — десять лет, а то и расстрел.

У Шафрана осталась в Луганске жена Дуся. По его словам, красавица. Вначале он получал от нее часто посылки и письма, но затем все реже шли посылки, прекратились, реже пошли и письма, и в последнем Дуся писала ему о том, что она молода, что десять лет она ждать не может и поэтому просит простить ее, но больше писать ему писем не будет.

Шафран ни от кого не скрывал этого последнего письма. Он сидел в канцелярии, письмо лежало на столе. Кроме меня были Усачев, Иван Мокроусов, Герка Лапин и Карнаухов, с которым последнее время сблизился Шафран. Карнаухов, посаженный за мошенничество, проводил в деревнях подпиську на газеты и журналы, выдавая фиктивные квитанции и забирая деньги, — охранял по ночам штаб отделения.

Шафран долго молчал, и потом совершенно неожиданно для нас рассказал свою историю. На его совести было шесть ограблений инкасаторов. Уезжая в командировку за пределы Луганска, он просил в

сельсовете сделать отметку выезда днем позже, мотивируя тем, что надо бы отдохнуть, это нужно было ему для алиби, а сам в этот день совершал грабеж. На ограбленные деньги покупал Дусе наряды. Если она спрашивала, откуда деньги, отвечал — премия. Но однажды чуть не попался — он не убивал, глушил свои жертвы, — на этот раз инкассатор не упал от удара в голову, а успел схватить Шафрана, закричал, обливаясь кровью. Шафрану все же удалось вырваться. Он прибежал домой, бледный, со следами крови на одежде. И Дуся узнала, откуда у него деньги.

— Это я все для нее, — говорил Шафран, — чтобы не ушла от меня. Очень она красивая. А она сообщила в милицию. Боялась, что ее посадят вместе со мной... Ждать обещала...

Через неделю он сбежал вместе с Карнауховым. Как выяснилось, Карнаухов в отделе освобождения выкрал две справки, которые выдавали освобожденным.

Было подано в розыск.

— Ну теперь он с Дусей разберется, — сказал Мокроусов.

И на самом деле он поехал к ней, в Луганск. Но об этом мы узнали гораздо позже. Он прислал письмо, в котором описал все подробно, как они бежали, как решили пересидеть некоторое время в Нерчинске, поработать в шахте, конечно, под другими именами, как произошел обвал и Карнаухов погиб, а вот он, Шафран, шлет нам письмо из Луганска. Завтра у него встреча с Дусей. А потом он покинет Луганск.

— Ну все, песенка Дуси спета, — опять сказал Мокроусов. И никто ему не возразил.

Это был единственный случай побега в пожарной охране, несмотря на то, что все без исключения пожарные ходиливольно и могли в любую минуту сбежать. Бежало же ворье. «Хоть день да мой!» Убегали цыгане. Про них говорили так: если уж цыган сбежал, то лучше его и не ловить. Как сквозь землю провалится.

Я часто выезжал на фаланги. И случалось так, что и ночевал на какой-либо из них.

Работы на трассе замирали только на короткое ночное время. С утра и дотемна, словно муравьи, трудились «путеармейцы» — так называли зека в лагерной печати и в обращениях. Техника была самая примитивная: лопата, тачка, кайло. И все же день ото дня все больше нарастали насыпи, все больше углублялись выемки, ложились на шпалы рельсы — вырастал второй путь Великой Забайкальской дороги. Строительство мостов не прекращалось и зимой. Сооружали «тепляки» и в них заливали бетоном будущие опоры. Внизу, под полом «тепляка», бурлила вода. На полу стояла времянка, гудевшая день и ночь. Тут же возле нее замешивался раствор и постепенно, метр за метром, по мере увеличения опоры рос тепляк, пока не превращался в высокую вышку.

Однажды Оскерко вызвал меня к себе.

— Выпей-ка, Сергей-та Алексеевич-та, — сказал он, наливая себе и мне в стаканы. — Освобождаюсь я.

— Поздравляю.

— Предлагают остаться по вольному найму. Как вы смотрите-та?

— Если бы я освободился, сразу бы уехал.

— А мне-та ехать некуда... Так вот, жена у меня в Махачкале. Может, выписать ее, Анну Николаевну-та?

— Конечно, выписывайте! — горячо поддержал я, подумав о том, что нет того дня, чтобы он не был выпивши. — И вам хорошо будет и ей.

— Ее-та вы не знаете, — в раздумье сказал он. — А у вас-та кто-нибудь остался на воле?

— Только мама.

— Ма-ма... Давно уж я этого слова не слышал. Ну ладно. Кто там в канцелярии?

— Бойко, переписывает стенную газету.

— А-а, сую-кую... Ну, ладно, позовите ко мне Мокроусова, пошлем ей телеграмму. Пускай едет-та...

Вскоре Оскерко явился в форме войск НКВД. На нем была новая комсоставская шинель с малиновыми петлицами, новые хромовые сапоги. За ним шел Митька Горькавенко с двумя сумками — в них был паек начальника.

Несколько дней Оскерко ходил строгий, подтянутый, не пил, выехал на периферию — проверил несколько фаланг, побывал в пожарных командах и вернулся посвежевшим, собранным. Вызвал Хижняка, само-деятельного художника, который нам оформлял стенгазету, и велел ему разрисовать у него в комнате стену над кроватью. И Хижняк за день расписал ее, изобразив синее море, пальмы, горы и парящего орла.

— Не мешало бы парус, — пожелал Оскерко. И Хижняк тут же изобразил парус. После чего Оскерко дал ему пачку папирос и кусок колбасы, чем Хижняк был очень доволен.

Стенную газету, прежде чем вывесить, носили в третий отдел на просмотр. Носил ее Мокроусов.

— Ну, брат, дела, — сказал он однажды, — ерунда вышла с твоими стихами.

Стихи были про строительство дороги, про то, что раньше тут была глухомань и только волк выходил на сопку, но вот пришли люди и стали строить дорогу, и когда волк выбрался еще раз на сопку, то увидал стальные пути. Вот таково содержание. Что ж могло смутить в третьем отделе?

— Кто волк-то? Кого ты имел в виду? — спросил Мокроусов. У него были на редкость красивые белые зубы, и он любил их скалить. Оскерко и тут.

— Да никого, просто волка, — растерянно ответил я.

— Так и я им объяснил, а они чего-то другое усмотрели.

— Чего же другое? — упавшим голосом спросил я.

— А вот велят идти, узнаешь у них... — Но тут же, увидя, что я вконец растерялся, захохотал: — Что, здорово я тебя поддел? Это я сам про волка придумал. Здорово?

Я еле сдержался, чтобы не дать ему в ухо.

— Зря вы, Сергей-та Алексеевич-та, стишкы пишете, — как-то сказал мне Оскерко, — мало ли, какое не то слово влепишь-та и неприятностей не оберешься. Тут сидят поэты-та. Дмитрий Загул такой есть. Жорка Ломоносов-та рассказывал куплеты, он пишет для агитбригады-та...

Честно говоря, я всегда волновался, когда Мокроусов относил стенгазету на просмотр. Действительно, мало ли, вкрадется какая неточность, а я уже и так был поднапуган «пятьдесят восьмой». И я решил было отказаться от редакторства, но тут произошли некоторые события, которые отмели мое решение.

Рано утром раздался стук в стену. Оскерко вызывал к себе. Я быстро оделся и вошел.

В его комнате у окна сидела молодая женщина с длинными, касающимися плеч светлыми волосами, с несколько бледноватым лицом и большими серыми глазами. За столом сидел Мокроусов с пером и бланком формуляра. Встревоженным, полным недоумения взглядом встретила меня эта женщина.

— Вот, Сергей-та Алексеевич-та, будете свидетелем. Начинайте, Иван Степаныч, — сказал Оскерко.

— Ваша фамилия? — четко спросил Мокроусов.

— Станислав, ну что за глупости! — обиженно сказала женщина. Я уже догадался: это была его жена, Анна Николаевна.

— Отвечайте-ка, — сурово сказал Оскерко. — Продолжайте, Иван Степаныч!

— Ваша фамилия? — с нажимом спросил Мокроусов.

— Ну, Оскерко... Я не понимаю, что здесь происходит...

— Имя, отчество?

— Станислав! — чуть не плача, воскликнула Анна Николаевна.  
Мокроусов вопрошающе взглянул на Оскерко.

— Допрашивайте-ка! — крикнул Оскерко и отпил из стакана, поморщился и закурил.

— Ну Анна Николаевна...

— Год рождения? — Ванька набирал темп, ему нравилось допрашивать.

Я с жалостью глядел на жену Оскерко, только теперь понимая, что, пожалуй, зря посоветовал ему ее выписать. По крайней мере, начало сулило мало хорошего.

— Тысяча девятьсот четвертый...

— Станислав Николаевич, не надо, — сказал я.

— Вы что? — удариł кулаком по столу Оскерко. — Что вы знаете о ней? Или с теплых кормов на штрафную захотелось-та?

— Какую статью ставить? — спросил его Мокроусов. — Срок?

— Станислав!..

И тут Оскерко захохотал, не вынимая трубки изо рта.

— Можете поздравить-та Анну Николаевну с приездом-та!

В честь приезда он налил нам с Мокроусовым по полстакана водки, дал закусить шпигом. Мы выпили и ушли.

Днем Оскерко велел мне подготовить все материалы по противопожарному состоянию всего отделения.

— Подготовьте проект приказа о наложении взысканий на начальников фаланг за невыполнение наших указаний. Пойдете со мной к Большакову-та.

Готовясь к приему, он надел дубленый белый полушибок, был в галифе с кожаными наколенниками, в белых бурках. Я в своей зековской форме — бушлат, под ним суконная гимнастерка, поверх моих курсантских шаровар новые хлопчатобумажные штаны и суконная шапка-ушанка.

Оскерко быстро спускался с холма к поселку. День стоял солнечный, сухой мороз искрился в воздухе. Был уже март, но зима еще сидела крепко. Шел одиннадцатый месяц моего лишения свободы. Как ни странно, но я не тосковал «по воле». Причиной тому, может, была относительная свобода и то, что не так уж велик был срок заключения. Конечно, имело значение и то, что я не отбывал свой срок на трассе. Там все было по-иному. Работать при минус тридцати, да еще, бывает, на ветру, тут каждый день покажется за месяц. Мне повезло. К тому же стал наедаться досыта (чувство этапного голода наконец-то прошло). Да и работа была легкая и в какой-то мере интересная.

Большаков, грузный, с малоподвижным взглядом небольших глаз, сидя за громадным столом, молча выслушал рапорт Оскерко.

— Значит, у вас все хорошо, чем же тогда объяснить пожары на фалангах? — ровным голосом спросил он.

— Невыполнение наших указаний, — ответил Оскерко. — Вот проект приказа.

В эту минуту в кабинет вошел высокий, подтянутый, в кожаном пальто с одной «шпалой» в петлице военный в форме НКВД. Он четко подошел к Большакову, отрапортовал о своем прибытии и вручил пакет с сургучными печатями.

Большаков вскрыл конверт, бегло прочитал и размешисто что-то написал на документе.

— Иди в третий отдел, к Дмитриеву. Он тебя определит.

— Есть! — козырнул прибывший, четко повернулся и вышел.

— Вот так, без конвоя прибыл, — сказал Большаков, и добавил: — От себя не убежишь.

Это был один из сотрудников Медведя, осужденный по делу об убийстве С. М. Кирова.

Мы вышли.

На станции стоял эшелон с заключенными. Из железных труб, выведенных в крышу, тек жидккий дымок. В застекленных окнах, меж решеток, виднелись бледные пятна лиц. Конвойры, зябко перестукивая ногами, грели дыханием руки. Паровоз гукнул, и вагоны, содрогаясь, побежали за ним.

Чуть ли не каждый день прибывали эшелоны «кировского потока». Фронт работширился, приближался срок сдачи вторых путей. Начальство прилагало все усилия, чтобы к маю по вторым путям Байкало-Амурской магистрали прошел первый пусковой поезд. В лагерных газетах в каждом номере печатались призывы к путеармейцам. Как поощрение за ударный труд — льготы: сокращение срока наказания, а то и досрочное освобождение. Вообще, надо сказать, героический труд поощрялся щедро.

«Начальник мобилизованной для работ по спасению моста фаланги 2-го отд. БАМЛАГа № 7 з/к Толстой и производитель работ той же фаланги з/к Глухов сумели по-боевому организовать работу фаланги и проявили личный трудовой героизм, причем з/к Глухов два раза был под угрозой гибели...»

(Из приказа НКВД СССР № 169 о досрочном освобождении заключенных БАМЛАГа Толстого и Глухова.)

Снижали сроки, а то и освобождали тех, кто обнаруживал лопнувший рельс. Проявляли героизм и во время весенних паводков и в осенние ливни, когда реки выходили из берегов и грозили смыть мосты. Поощряли и тех, кто, не жалея себя, трудился на трассе.

Шуми, разливайся, бесись, Уидурга!  
У нас в мозолях ладонь, —  
Породу грызи, кусай берега,  
А нашей работы не троны! —

писал в своей поэме «Семнадцатая» Дмитрий Загул.

Приближалась весна, но по ночам еще стояли морозы, да и днем мели метели. И все же зима была позади. Однажды, возвращаясь из командировки, я оказался в одном купе с девчонкой. Ей было лет девятнадцать. Ростом вровень со мной. Так что, когда мы глядели друг другу в глаза, то это были прямые взгляды. И нам нравилось глядеть не отрываясь. В купе было слишком много посторонних, и мы вышли с ней в тамбур. И там, держа друг друга за руки, о чем-то весело, без умолку болтали, смеялись и не могли нарадоваться, что встретили друг друга. И вдруг я увидел проплывающую надпись на фронтоне вокзала: «Уральга». Поезд, постояв несколько минут, пошел дальше. Я заметался, не зная, что же делать, — и уезжать нельзя, на той стороне было уже другое отделение, и расставаться не хотелось.

— Прощай! — сказал я ей и пожал руки.

— Как прощай? — удивилась она и засмеялась, ничего не понимая.

— Прощай, — сказал я еще раз и спрыгнул на ходу поезда. И долго глядел вслед уходящему последнему вагону. И чуть не плакал от жалости, что больше никогда ее не увижу... И никогда, конечно, не увидел...

Пока я был на 47-й, в Уральге произошло печальное событие — погиб Усачев. Убедившись в том, что раньше полутора лет ему никак не освободиться, он решил проявить себя героически. И случай представился. Загорелась пересылка. Пламя быстро охватило дощатую кровлю, — в пожарке затрещал телефон, по поселку разнесся набатный звон колокола, пожарные мигом выехали, и с ними Усачев, хотя он как пожарный инспектор мог бы и остаться дома.

К зданию уже трудно было подступиться, когда Усачев услышал о том, что в конторке остались документы, — какие документы, его не интересовало (как потом выяснилось, речь шла о годовом бухгалтерском отчете), и Усачев кинулся внутрь горящего дома. Никто не успел остановить. Через час достали его из груды тлеющих бревен, обгоревшего, обезображенного.

— У него больная жена осталась,— сказал я.

— Хотел поскорее освободиться,— сказал Мокроусов.

— Теперь свободен,— горько усмехнулся Оскерко и велел Мокроусову написать заявку на двух пожарных инспекторов.

Пожарное хозяйство разрасталось, понадобился бухгалтер, и он явился, по заявке Мокроусова. Шмелев, пожилой человек, с обвислыми плечами, в очках. Он сразу же, как клещ в тело, впился в документы и описи имущества. Что, впрочем, не помешало ему организовать в пожарке кружок по политучебе. Никто его не просил, не назначал, сам, по своей инициативе. Причем занятия проводил ежедневно, по вечерам. Кто из пожарных с интересом слушал, кто томился, а были и такие, вроде Петра Анкудина, ломового извозчика из Иркутска, что спали на занятиях. Петр Анкудинов был кучером «первого хода». Он знал лошадей, любил их, и Оскерко ценил его, не говоря уже о начальнике пожарной команды. Герман Лапин освободился и взамен его был Чертков Николай, лет сорока, на воле работал начальником пожарной команды.

Бухгалтер не мешал спать Анкудинову, но когда тот проснулся и блаженно зевнул, спросил его, что он знает о «военном коммунизме».

— А на хрен мне это знать,— ответил Анкудинов.

— Может, вы так вообще к коммунизму относитесь? — спросил бухгалтер.

— А вались ты весь и с докладами твоими,— сказал Анкудинов и пошел в конюшню.

На другой день Анкудина по телефону вызвали в третий отдел. Вернулся он через две недели. Сел на свою койку и заплакал. Шмелев донес на него, и Анкудинов получил «довесок» — «за контрреволюционную агитацию».

Оскерко вызвал его к себе. Он уже все знал.

— Жаль, но не могу я тебя держать-та. А лошадей лучше тебя никто не знал.

Анкудинов опять заплакал, растирал здоровенной руцищей слезы по щекам и губам.

Оскерко постучал в стену. Через минуту вошел Мокроусов.

— Заготовьте-ка документы на бухгалтера Шмелева на пересылку, чтоб на общие-та работы его,— сказал он ему.

Мокроусов хотел было уже уйти, как в дверь постучали, и показался бухгалтер.

— Попрошу вас в канцелярию,— сказал он Оскерко.

— Что такое?

— Один вопросик.

Если бы Оскерко не был зол на него из-за Анкудина, то, наверное, прошел бы, но здесь он резко сказал:

— Говорите, в чем дело?

— Если желаете, хотя удобнее было бы наедине. Очень пренеприятный факт. При последней инвентаризации не учтен тысячелитровый чан на пятьдесят девятой фаланге.

Оскерко нахмурился и отвернулся в сторону, чтобы скрыть замешательство.

— Ну так внесите в ведомость,— сказал он.

— Но его нет,— тихо заметил бухгалтер.

— Ну, на нет и суда нет.

— Может быть суд. Он продан колхозу. И вы отлично знаете, кто его продал. Поэтому я и хотел с вами наедине это неприятное дело обговорить.

— Гад! — неожиданно взорвался Анкудинов. — Убью! То меня, а теперь его! — он прыжком достиг бухгалтера, ухватил его за ворот, втащил в комнату и стал душить.

— Анкудинов! — дико закричал Оскерко и с трудом оторвал руки Анкудина от шеи бухгалтера. — С ума сошел! Отправляйся к себе.

А ты, Иван, делай, что я тебе велел — пиши бумагу... Чан протекал, и я его за так отдал колхозу...

— За спирт вы отдали, — потирая шею, сказал бухгалтер. — Я вынужден буду...

— Черт с тобой, докладывай, только через десять минут чтобы твоего духа не было, убирайся на пересылку!

— Это за правду-то... — покачал головой бухгалтер.

— Убирайся, убирайся!

Он убрался, но все же донес в третий отдел об этом пропавшем чане. Оскерко вызвали. Он не отпирался. Да, пропил, но это было еще до освобождения. Он готов внести стоимость чана. Выкупить, если надо, у колхоза. Но следователь вел следствие. Не его дело было решать судьбу Оскерко. Это уж потом, пусть начальство решает.

Совершенно потерянный, то злой, то жалкий, Оскерко снова стал пить. Анна Николаевна, не менее его растерянная, входила в канцелярию и встревоженно спрашивала:

— Его могут сюда посадить? — И не дожидаясь ответа, обращаясь ко мне: — Помогите. Я прошу вас...

— Но что я могу сделать?

— Ну хоть посоветуйте. Если только его осудят, тогда... это же кошмар. Тогда зачем я сюда ехала? У нас и так-то отношения были ослабленные, а если он получит новый срок, тогда все... Ну посоветуйте что-нибудь... Вы умный, стихи пишете. Ну посоветуйте...

— А что если ему поехать в Свободный к Тору? От него многое зависит, начальник пожарной инспекции, — сказал я.

— И что?

— Там начальник БАМЛАГа Френкель. От того уж все зависит.

— Он может простить?

— Может.

— Пойдемте, пойдемте к нему. Он вас послушает, — она потащила меня за руку.

Оскерко встревоженно посмотрел на меня.

— Станислав, тебе надо ехать в Свободный и там все объяснить... Так Сергей Алексеевич думает...

— Не надо бы мне здесь оставаться-та... — со вздохом сказал Оскерко.

— Ты слышишь, что я тебе говорю?

— Да-да... Просить прощения... в ноги упасть. — Он стукнул кулаком по столу и нервно закурил. — Идите-ка, Сергей-та Алексеевич-та, идите...

Я ушел. А через час он уехал в Свободный.

Вечером раздался стук в стену, но не уверенный, сильный, как обычно стучал Оскерко, а робкий: тук-тук, и все. Это стучала она.

— Извините, но так тревожно... Садитесь, попьем чаю, — Анна Николаевна мягко улыбнулась. — Кушайте. — На столе была ветчина, сыр, булка, сливочное масло.

Я давно уже перестал отказываться от предлагаемой пищи. Если дают — надо есть. Кто знает, может наступить и голодный день.

— Волнуюсь... тревожно, — повторила Анна Николаевна. И, словно в подтверждение ее слов, раздалось девять мерных ударов в колокол. Эти удары, почти незаметные днем, вечером звучали как напоминание о чем-то уходящем, чего уже не будет. Тяжелые, холодные, они были похожи на звуковые капли — бам... бам... бам... — падали во что-то вязкое, чему нет конца. По ночам только эти звуки нарушали глухую тишину. Особенно мрачно звучал в час ночи одинокий удар — баммм... — и долго вибрирующая дрожь стекала с вершины холма, как бы обволакивая все живое. В его краткости была какая-то недоговоренность, предостережение. Одиночно, по-ночному звучали удары и в два, и в три, и в четыре часа. И только в пять начинали гудеть призывней, словно стучали в утренние двери наступающего дня. И уже

дальше с каждым часом все сильнее, увереннее становился звон в преддверии рассвета. И когда становилось светло, то удары в колокол, словно сделав свое дело, растворялись в живом свете наступившего дня — их переставали замечать и вспоминали только с наступлением вечера, когда во тьме снова раздавался этот вначале короткий, а потом все более расползающийся вязкий звук.

— Не знаю, чем все кончится, как сложится дальше жизнь,— сказала Анна Николаевна. — Вот он стал пить. Раньше не пил.

— Теперь он почти не пьет. До ~~вашего~~ приезда пил.

— А раньше совершенно не прикасался. Хотя порой становился сумасшедшим от ревности... Ведь вы, мужчины, какие, если с кем женщина смеется, танцует, разговаривает, шутит, то непременно должна этого человека любить. Вот так и тут вышло,— потанцевала-потанцевала, посмеялась, а Станиславу это не понравилось. Сделал мне выговор. Я обиделась. Он ушел из клуба, а я осталась нарочно, чтобы подразнить его. Вернулась поздно. Он стал обижать меня, допытываться, не изменяла ли я ему. Это так обидно. Значит, он не верил мне. Жил со мной и не верил моей любви к нему. Я обиделась. Решила уйти. А он и это понял по-своему, думал, ухожу к тому, с кем танцевала. И выстрелил в меня... Хорошо, что не убил. Три месяца пролежала в больнице. Выжила... А его уже осудили. Сначала и думать о нем не хотела, а потом затосковала. И вот — здесь...

На другой день к вечеру от Оскерко пришла телеграмма: «Приходи вокзал вещами двадцать четвертого поезд курьерский шестой вагон Станислав».

Провожали Анну Николаевну я и Митька Горькавенко, пожарный ездовой первого хода. Вещи были погружены на телегу. Их было немного. Два чемодана, корзина да мягкий узел.

Шел уже апрель. Зима, и так-то малоснежная, быстро отошла под весенним солнцем, открыв изящную землю. Склон зазеленел, и уже местами запушились желтые цветы. Река сбросила лед и сверкала вдали на солнце, гоня свои воды к Байкалу. Анна Николаевна молчала, находясь в грустной задумчивости. Да и у меня не было желания говорить. Лошадь под гору шла ходко, и мы быстро приехали на станцию. Снесли вещи на перрон и стали ждать поезда. Конечно, хотелось бы знать, как сложится дальше жизнь у Оскерко и Анны Николаевны, но с какой стати они затеяли бы со мной переписку, в конце-то концов что между нами общего? Не такое уж славное место лагерь, чтобы держать его в памяти, да и то, что случилось с Оскерко, вряд ли будет способствовать нашим дальнейшим отношениям. Поскорее вычеркнуть все из памяти — и делу конец.

Курьерский подошел, как говорится, на всех парах. Оскерко вышел из шестого вагона. Коротко поздоровался с нами. Мы помогли ему погрузить вещи. Попрощались с Анной Николаевной.

— Дай бог вам всего хорошего,— утирая слезы, сказала она.

— Ну, освобождайтесь да уезжайте подальше,— сказал нам с Митькой Горькавенко на прощание Оскерко. Крепко пожал руки и быстро вошел в вагон.

И вот уже тронулся состав, и все быстрей-быстрей колеса, все дальше вагоны, все меньше, и скрылся поезд, увозя среди сотен двоих, не очень-то счастливых людей. Что их ждет там? Какая жизнь?

С отъездом Оскерко что-то изменилось во мне. И не только потому, что я по своей натуре человек очень привязчивый. Мне, конечно, не хватало его. Но и еще что-то утратилось, — несмотря на всю нескладность своего характера, Оскерко все же был не злой человек. Больше того, даже и добрый. И от него шла определенная теплота человеческого участия ко всем нам, его подчиненным. Он не унижал нас, не помыкал нами, не злоупотреблял своей властью, — а мог бы и на штрафную ссылать, и на общие работы списывать. Только что и было, так это с бухгалтером. Но и то это надо было понимать как проявле-

ние заботы о нас, чтобы оградить от него. Все же, что было самодурского, это шло уже от благоприобретенного в лагере. Конечно же, лагерь воздействовал на психологию, и никак уж не в лучшую сторону.

Оскерко уехал, оставив след в моей памяти на всю жизнь. Это от него я услышал впервые песню: «Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый...» Он любил ее петь, как любил петь и модернизованный «Бежал бродяга с Тахтамыгды», вместо «с Забайкалья». Занятно было и с тем, что он выдавал себя за изобретателя и не скучился поделиться своим пайком. Так что больше в нем было хорошего, чем плохого. И у меня нет оснований вспоминать его худо.

На его место прибыл Александр Юматов, в прошлом коммунист, директор южного совхоза, осужденный на десять лет по закону от 7 августа 1932 года. Это был очень серьезный человек. Он внимательно отнесся к каждому из нас и всех оставил на своих местах, только как-то незаметно повеяло холодом отчуждения. К себе в комнату он никого не пускал. Лишь вызвал Хижняка, и то для того, чтобы тот замазал свою картину на стене. И сразу почувствовался строгий порядок во всем. Прибывших новых двух инспекторов он направил на закрепленные за ними участки, чтобы там они работали и жили. Мне дал урульгинский куст только потому, что я выпускал стенную газету и по-прежнему возглавлял тройку СиУ. Был он среднего роста, осанистый, с рябым лицом. Жил одиноко, не выходя из своей комнаты по целым вечерам, а то и дням. Но вот какую он сыграл роль в моей писательской судьбе. Втайне от меня переписал из стенных газет несколько моих стихотворений и отправил их в город Свободный в редакцию газеты «Строитель БАМа».

К полнейшему моему удивлению, среди разной почты оказалось письмо на мое имя из Свободного. Мокроусов передал его мне, не менее удивленный. Кто мог бы мне оттуда писать? И вот оно, письмо.

«Культвоспитотдел Управления БАМЛАГа НКВД (Сектор печати) Редакция газеты «Строитель БАМа», 17 июля 1935 г. № 5030. Воронину Сергею Алексеевичу, 2 отделение ВПО.

Уважаемый товарищ!

Присланные вами стихи нами будут выправлены и опубликованы в изданиях «Строителя БАМа». Пишите еще и присылайте. Гонорар после напечатания и авторский экз. вышлем. Пишите, лучше отрабатывайте каждое слово.

Зав. редакцией А. Ласкин.  
Литконсультант Дм. Морской».

Я ничего не понимал.

— Откуда они про мои стихи узнали? — спросил я Мокроусова. — Ты, что ли, послал?

— Клянусь, нет.

— Кто же? — Я сидел и в недоумении разглядывал письмо. И кто знает, сколько бы я ломал голову, если бы Мокроусов не вспомнил, как Юматов взял к себе последние два номера «Красного факела».

— Может, он переписал и послал?

Но это было почти невероятно. С какой стати он будет переписывать и посыпать? И как ни странно, сделал это именно он. Я показал ему письмо. Вот, мол, получил.

— А, ответили! — тут же улыбнулся Юматов, пробежав текст письма. — Я так и полагал. У вас есть способности. Ну вот, — возвращая мне письмо, сказал он, — теперь держите с ними связь. И кто знает, может, из вас хороший поэт получится.

И словно путевку он мне дал, этот чужой, строгий человек, в большой мир литературы. С этого дня словно что определилось во мне и зажегся тот творческий огонь, который не гаснет и до сих пор. Всяко складывалась моя литературная жизнь, но ни разу не было так, чтобы я отрекся от нее, пожалел, что пошел по этой трудной дороге.

У меня чудом сохранились письма — ответы из редакции «Строителя

**БАМа**. И я приведу их. Они примечательны прежде всего тем, как внимательно относились ко мне — а как позднее выяснилось и не только ко мне,— как быстро и доброжелательно отвечали товарищи из редакции, как горячо поддерживали разгорающийся творческий огонек и веру в себя.

«20 июля 1935 г.

Уважаемый товарищ!

Ваше стихотворение «Сдаем перегон» мы выправим и напечатаем в газете «Строитель БАМа». Гонорар вышлем.

Пишите короче, лучше отделяйте, не злоупотребляйте глагольными рифмами, чередуйте их с прилагательными и существительными.

Зав. редакцией *А. Ласкин.*  
Литконсультант *Дм. Морской*.

«29 июля 1935 г.

Уважаемый товарищ!

На все ваши письма к нам и стихи мы вам подробно ответили своевременно. Мы удивляемся, что наши письма не получены вами.

Вновь присланное стихотворение «Ударнику-путеармейцу», как и прежние ваши стихи, мы оставляем в портфеле редакции и после известной правки будем его печатать в сборнике стихов «Открытые семафоры».

Пишите и прсылайте еще.

Зав. редакцией *А. Ласкин.*  
Литконсультант *Дм. Морской*.

Вот говорят — «творческое горение»; наверное, оно и охватило меня. Писал я тогда много. Каждый день. Не все было удачно. Но какая-то неведомая сила тянула меня за стол, и я писал до глубокой ночи. Писал в поезде, едучи в командировку. Все было крайне интересно. А тут еще письма из редакции, которые ободряли меня. И вот я пишу рассказ «Штрафники». Первый рассказ. Не думаю ни о сюжете, ни о характере героя, ни о том, что он будет делать. Сплошная импровизация. Но состояние именно творческого восторга, когда рука сама пишет, пишет безостановочно.

«Сашку Глota привели в штрафную вечером. Вел его усатый, немолодой вохровец, слегка прихрамывающий на правую ногу. Всю дорогу шли молча». Так начинался рассказ. Я его написал за день и послал.

«4 августа 1935 г.

Уважаемый товарищ!

Мы радуемся, когда кто-либо из путеармейских авторов пришлет нам хорошую вещь. Ваш рассказ «Штрафники» явился для нас радостью. Бессспорно, мы напечатаем его. Пишите еще, старайтесь, развивайте свои способности в работе над рассказами, новеллами, стихами и т. д. и прсылайте нам.

Стихотворение «Первому слету командиров ВПО-2» получилось слабым, и печатать мы его не будем. Не унывайте! Стихов ваших у нас много, которые будут напечатаны.

Привет.

Зав. редакцией *А. Ласкин.*  
Литконсультант *Дм. Морской*.

Они прислали мне сборник стихов и песен лагкоров «Путеармейцы». Этот сборник стал моей настольной книгой. Сколько раз я читал его и перечитывал, мечтая о том, что когда-нибудь и мои стихи будут напечатаны в таком же сборнике. О большем я и не загадывал. Меня вполне устраивало то, что я печатаюсь, что меня признают в редакции, ждут новых стихов и рассказов, — так чего же еще мне и желать.

Он у меня сохранился, этот сборник. Я гляжу на его пожелтевшие, сухие страницы, перелистываю и читаю стихи, и словно на экране одна за другой встают картины далекого прошлого. Лагерь. Но что удивительно, ведь никто же не заставлял, не насиливал разум и волю лагерных поэтов — могли бы и не писать, но в каждом стихотворении

бодрость, призыв к лучшему, воспевание героики труда. Откуда это? Почему? Что заставляло их петь такие песни? И все это искренне. В этом я могу поручиться так же, как и в том, что я ни одного фальшивого слова не вставил в свои стихи.

Чтобы не быть голословным, я приведу некоторые из них полностью, из других возьму наиболее характерные строчки.

Стихотворение Вс. Зуммера «Берите перья». Вот его начало.

Через горы, пропасти и скалы  
В срок, какому равных не найти,  
На Востоке Дальнем, за Байкалом  
Мы вторые проведем пути.

Я видел Зуммера. Он работал в штабе второго отделения. Небольшого роста, пышноволосый, несколько похожий на Нексе. В своем стихотворении Вс. Зуммер призывает самих лагерников взять перья и написать, как строились вторые пути. «И героев наших помяните,— пусть никто не будет позабыт».

В сборнике участвуют двадцать лагерных поэтов. Из них особенно выделяется Сергей Федотов. Урка, рецидивист, он был чрезвычайно талантлив. Вот строки из его стихотворения «Песня о вторых путях».

Удивительно красивый  
И похожий на коня,  
Машет поезд черной гривой,  
Мчится, бешено гремя.

И дружит с бродягой ветром  
Паровоза потный лоб.  
За двадцатым километром  
Неожиданное: «Стоп!»

По минуте бесконечной  
Время ценное летит.  
Жди, когда промчится встречный  
И пути освободит.

Теперь уже мне хотелось писать. Понравилось видеть свое напечатанным. Не лишним оказалось и тщеславие. Выходит, до поры до времени оно таилось во мне. Еще бы, никому не известное имя — и вдруг напечатано крупными буквами. Читайте! Запоминайте! Новый поэт идет. А что? Воображение уносило меня так далеко, что уже где-то грезилась встреча с Максимом Горьким, и он окающим басом представляет меня всему миру. А тут еще звонок из редакции многотиражки второго отделения. Просят срочно зайти. И я бегу. Если срочно вызывают, то медлить нечего.

И редакция, и типография многотиражки помещались в товарном вагоне, возле станции.

Я поднялся по приставной лесенке, толкнул дверку и вошел. В вагоне было тесно от вещей. Касса с набором, печатный станок, стол с гранками, заметками и тарелкой с едой, две койки, два стула и двое: один ко мне спиной — он даже и не обернулся на мое приветствие, и другой, небритый, пожилой, устало взглянул на меня. Я назвал себя.

— А... Стихи нужны о пусковом. Давай, садись и пиши, — сказал усталый.

— Ладно, попробую, — оробело согласился я. И хотел было направиться домой, но редактор не отпустил. — Так я не знаю, смогу ли...

— Значит, сможешь, если из третьего отдела звонили. Час времени тебе. Завтра пусковой. Он на запаске стоит, погляди, может, воодушевишься...

Я вышел из вагона, сел на шпалы. Припекало солнце. От шпал отдавало смолой. Где-то неподалеку гудел шмель. Я оглянулся и увидел невдалеке первый пусковой состав — один пассажирский вагон для вольнонаемного начальства и двенадцать платформ для оркестра, само-

деятельности и ударников-путеармейцев. По всему составу лазали девчата, украшали вагон и платформу кумачом и зелеными ветками. Ставили флаги. Легкий ветерок, дувший с Ингоды, шевелил их. Я начал придумывать первую строчку, но мне не был ясен замысел, а тут еще не ладилось с рифмами. Они уводили стихотворение в сторону от задания, и я уже был в отчаянии, сознавая, что мне не сладить с заказом. Время шло, и уже два раза высывал в дверь голову редактор, поторапливая меня. И вдруг как бы сама собой возникла настоящая первая строчка, за ней вторая, третья и четвертая. И за короткое время написалось все стихотворение. Название определилось сразу — «Первый пусковой». Я переписал его начисто.

Весь одетый в лозунги плакатов,  
В ярких флагах, в зелени, в цветах, —  
Ты промчешься средь гористых скатов,  
Первый поезд на вторых путях!

Для тебя — стальная эта трасса,  
Для тебя — тоннели и мосты.  
Для тебя боролась эта масса,  
Низвергая дикие пласти!

Этот путь, торжественный и гордый,  
Путь победный, — потому таков,  
Что ковался он рукою твердой,  
Под водительством большевиков.

Ты свой дым победно в небо вскинешь  
И успешно путь свой завершишь,  
И победной нашей стройки финиш  
Ты гудком веселым возвестиши!

Мне почему-то думалось, что редактор обрадуется, начнет трясти мне руку, благодарить, даже восхищаться, как это я так здорово написал, но он молча пробежал взглядом страничку, поставил в двух-трех местах знаки препинания и отдал стихи наборщику.

В вагон вошел пожилой человек, высокого роста, несколько сутуловатый, худой.

— А, Дмитрий! — улыбнулся вошедшему редактор. — Принес?  
Тот отдал исписанные листки.

— Ну, спасибо... А тут твой молодой коллега, — указал на меня редактор. — Познакомься, — сказал он мне, — это поэт Дмитрий Загул.

Я взглянул на него, вспомнил о нем слова Оскерко и немного смешался, представив, а вдруг он захочет посмотреть мои стихи. Но Загул только кивнул мне и, сказав «до свидания», вышел из вагона.

Я кинулся за ним. Не решаясь заговорить, прошел несколько шагов позади, не отрывая взгляда от сутулой спины. Наконец осмелился.

— Извините... Но я хотел бы поговорить с вами...

— О чём? — не останавливаясь, но внимательно взглянув на меня, спросил Загул.

— Я хотел бы вам почтить свои стихи.

— Ну что ж, пойдемте ко мне, там почтаете, — ответил он и быстро, с наклоном вперед, пошел через пути к стоявшему на запаске пассажирскому вагону.

Дмитрий Загул жил в первом купе. Вагон стоял коридорной стороны к солнцу, поэтому в купе было сумрачно, к тому же на окне висела шторка. Он отдернул ее. Сбросил с постели в сторону газеты и журналы. Освободил от рукописей стул.

— Садитесь, — коротко сказал он, сам сел на постель и стал крутить из газеты цигарку. — Курите, — и подвинул ко мне деревянную шкатулку с махоркой.

Я закурил.

— Читайте, — коротко сказал Загул и, откинувшись к стенке, приготовился слушать.

Я стал читать. Прочитал «Сдаем перегон» и только что написанное «Первому пусковому».

Загул молчал. В стороне прогудел паровоз,— может, прицепили его к первому пусковому составу. От пожарки донеслось три удара в колокол.

— Ну что ж, — наконец сказал он. — Будете писать. Будут вас печатать. — И замолчал.

— Больше вы ничего не скажете? — спросил я.

— А что вам еще сказать? Есенина читали?

— Да.

— Помните: «Быть поэтом — это значит то же, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души»... Вы за что осуждены?

Я ответил. И совсем неожиданно для себя спросил:

— А вы?

— За то, что очень люблю свою Украину. А это называется национализмом, — сухо ответил он. Видимо, мой вопрос заставил его вспомнить многое, неприятное ему, он несколько раз жадно затянулся, потом смял окурок в железной банке. — Да, ну что ж, желаю успеха в нашем трудном деле... — И, помолчав, сказал на прощание: — Быть поэтом — это значит говорить всегда правду.

Много лет спустя, уже в наше время, в «Огоньке» была статья, посвященная Дмитрию Загулу.

На станции гремел веселый марш духового оркестра. Первый пусковой, весь в цветах и знаменах, с тесно заполнившими платформы лучшими ударниками стройки, стоял на новом пути. По сторонам от него, почти вплотную, большими квадратами с малыми интервалами стояли фаланги уральского куста. К ним обращался Большаков. Широким жестом он распахивал руки. Его голос слышали все.

— Многие из вас, как с трамплина, совершают прыжок отсюда на волю, к своим семьям, в родные города и деревни! Вторые пути БАМа как вечный памятник будут вашему труду! Скоро придут к вам льготы за ваш самоотверженный труд. Широкие льготы! Ура!

— Ура! — закричали люди. Оркестр заиграл туш.

— Да здравствуют ударники-путешественцы! — кричал Большаков. — Ура!

— Ура-а! — понеслось со всех квадратов. И опять оркестр заиграл туш.

И первый пусковой тронулся в путь. За ним пошли путешественцы. Поезд все увеличивал ход. И тогда они побежали по сторонам, кричали, махали руками, фуражками, платками, падали, подымались, ликующие, все позабыв: и правду, и неправду, и обиды, и лишения, объединенные одним чувством — торжествующей победы. Вот он идет, первый поезд по их путям! Этот путь сработан ими, их потом, их надеждами, лишениями, верой, жертвенностью. Идет все быстрее, все больше набирая ход!

Стояли, махали ему вслед рукой...

Случилось так, что меня вызвали в третий отдел к его начальнику Дмитриеву. Это был вольнонаемный, высокого роста, если так можно сказать, — хорошей упитанности. Встретил он меня просто. Как выяснилось, во мне была нужда. В Пашенной организовывалась новая фаланга № 7. Комсомольская. То есть все руководство ее будет состоять из комсомольцев. И такие ребята уже есть, но они малограмотные, и вот я придаюсь им на должность помощника начальника фаланги по труду.

— Мы надеемся на тебя и думаем, что ты оправдаешь наше доверие, — сказал в заключение Дмитриев.

Конечно, я мог бы отказаться, но вряд ли к чему хорошему это привело. И я покорно согласился, хотя в пожарке мне было не худо.

Начальником фаланги был Уласюк, лет двадцати шести, парень из ВОХРа, с красивой, совсем молоденькой женой. Мой возраст, пожалуй, как раз находился посредине ихнего. Может, поэтому Уласюк сразу расположился ко мне, зазвал на чай, перезнакомил с остальными комсомольцами — помначем по быту, помначем по КВЧ — культиваторами, с кладовщиком. Все это были простые ребята, никак не подчеркивающие своего превосходства над заключенными, в том числе и надо мной. Задача создания такой «комсомольской» фаланги — быть образцом, по ней должны равняться многие другие фаланги.

В «комсомольской» находилось триста заключенных. Состав самый смешанный. Тут были и бытовики, и осужденные «за колоски», и раскулаченные, были и урки — человек тридцать. Назначение фаланги — строительство вагоноремонтного пункта на станции Пашенной. Это там находилась 47-я.

Помещались путеармейцы — официально их так именовали, так же обращались к ним и руководители фаланги — все в одном бараке, на двухэтажных нарах. К осени в проходе появились три печи-времянки, вблизи которых сушились одежда и бахилы — матерчатые ботинки на деревянной подошве или на резине из покрышек.

Кормили путеармейцев три раза в день. Завтрак и ужин в бараке, обед на производстве. Хлеб — «горбушку» — выдавали утром. Те, кто работал хорошо, перевыполняя нормы, получали по полторы и по две «горбушки». Раз в месяц выдавали махорку и кондизделия — картофельки «подушечки». И еще пять рублей деньгами.

Все были разбиты на шесть бригад. От бригадиров я получал сводки о выполненных работах, им же давал задания. Моим помощником был учетчик.

Каждое утро перед выходом на работу помнаж по культиваторам коротко информировал заключенных о международных событиях, о том, что делается в стране, и особо останавливался на строительстве БАМа. Он говорил:

— Вчера опять еле-еле уложилась фаланга в норму на рытье котлованов и закладке фундамента. Учтите, скоро появится приказ о льготах. Нерадивые, не выполняющие норму не будут в списках. Сами на себя пеняйте. Также и бригадиры учтите: если в целом по бригаде нормы не будут выполняться — бригадира льготы не коснутся. Только труд, самоотверженный, героический! Помните это!

Но можно бы и без напоминаний — с каждым днем все накаленное становилась обстановка. Прошло около трех месяцев, как прогудел первый пусковой. Но дело, оказывается, было не только в нем, надо было еще построить вокзалы, вагоноремонтные пункты, депо, складские помещения. Только после этого будут применены льготы. И люди старались вовсю. Не было каменщиков. На освоение этой специальности давалось всего пять учебных дней, после чего назначалась норма кладки, и тот, кто не выполнял ее, не только не получал положенную «горбушку» и приварок, но и рисковал не получить льгот. Но таких почти что и не было, за исключением урок. В основном же путеармейцы были народ трудовой и умели работать. И работали так, что выполняли нормы и за урок. Все урки были разбросаны по бригадам, и их «трудовой» вклад не учитывался, заранее знали, что его не будет. Поэтому остальные должны были «вкалывать» и за них. Ну и еще существовала «туфта», по-нынешнему — прилиска. Не было такого бригадира, который бы не завысил объем выполненных работ. И на это смотрели все — от помнажа по труду до начальника района — как на дело естественное, составляя акт на каменистость грунта, в то время как там был песок.

Подъем был в шесть часов утра. До семи завтрак. В семь выход на работу. И там до семи вечера. После чего ужин, кое-какие свои дела и сон, тяжелый, беспробудный, со вскриками, храпом, кашлем, бредом. Ночью людей мучило то, от чего их днем освобождала тяжелая рабо-

та. Люди обеспокоенно ворочались, очумело вскакивали, оглядывались и, разобравшись в том, что они у себя в бараке, заваливались спать дальше.

Первое время я с непривычки не сразу засыпал, слыша, как кто-то стучит деревянными подошвами, направляясь к параше, как кто-то спло ругается, кто-то вздыхает, всхлипывает, но постепенно привык. А потом получилось так, что в бараке отгородили две каморки, — в одной разместилась сапожная по починке бахил, в другой моя конторка с селектором, для передачи сводок и рапортов в штаб отделения в УРЧ — учетно-распределительную часть. Там я и устроил себе ложе. Там же писал и стихи. Появился опять свой уголок. Конечно, не такой, как в пожарке, но все же закрытый от постороннего глаза.

Шли дожди. С каждым днем все дольше задерживались путеармейцы на стройке. Приходили мокрые, старались поскорее занять место у печки, чтоб обсушиться. Была брань, крепкая ругань, но до драки никогда не доходило. Затихали во время ужина. Вечером выдавали добавочное к обычной баланде. Иногда кусок рыбы, бывало, и кусок мяса, но это только тем, кто перевыполнял нормы. Правда, случалось и так, что бригадир отбирал дополнительное от сильного и давал его слабому, как бы подкармливая, в надежде, что слабый поокрепнет и выживет свою норму.

Последний месяц перед льготами был особенно напряженным. Работали по шестнадцать, а то и по восемнадцать часов. Не успевали обсыхать. Подымали среди ночи на разгрузку, и невыспавшиеся зеки шли на стройки. У многих появилась «куриная слепота», то есть с наступлением вечера люди переставали видеть. Все больше оставалось больных в бараке: простуда, ревматизм, малярия. Но уже к концу подходило строительство. И в канун праздника 7 ноября Уласюк всем велел собраться в вагоноремонтном пункте. Велел из кирпичей и досок сделать лавки. Он никому не говорил о льготах, но уже не только слух, а полная уверенность была у каждого, что собирается он не только поздравлять с праздником, но и объявить о долгожданных льготах.

Так оно и было. Когда все собрались и расселись побригадно по лавкам, пришел Уласюк со своим помощником по культпроспитчасти, сел за стол, обтянутый куском красной материи. И громко, раздельно сказал о том, что приказ о льготах есть, и показал его.

После таких слов, казалось, должны бы раздаться крики радости, но наступила такая тишина, что стало слышно, как высоко вверху по железной крыше постукивает дождь.

— Я буду называть только имена, а вы уж сами, и в первую очередь бригадир, решайте, кому давать досрочное, кому срезать остаток, кому ничего не давать, если не заслужил правительственный льгот. Вам виднее, кто как работал. Сами решайте! Сами оценивайте достойных! Таков приказ начальника БАМЛАГа и строительства БАМа товарища Френкеля! — И, взяв список с именами путеармейцев, стал называть имена.

Список был составлен по алфавиту, и то в одном конце, то в другом, то в середине, то в первых рядах подымался вызываемый, и бригадир, немного помедлив, собираясь с мыслями, говорил о том, какие льготы применить. И тут же однобригадники поддерживали его. Было несколько человек, которым не полагались льготы, и те тут же набрасывались с руганью на бригадира, но Уласюк стучал по столу, и шум стихал. Несколько человек было освобождено досрочно.

Дошла очередь до меня. Я встал. Со всех сторон внимательно разглядывали меня.

— Я понимаю, — сказал Уласюк, — он ни в чьей бригаде не работал, но вы знаете его. Поэтому сами решайте.

— Сколько тебе осталось? — спросил один из бригадиров.

— Пять месяцев, — ответил я,

— Ну тогда дать ему пять месяцев с походом. Пускай едет домой да больше сюда не приезжает, — сказал бригадир.

И тут со всех сторон посыпалось со смешками, с шуточками, чтобы дали пять месяцев, чтобы «уматывал» я отсюда, чтобы жил чин-чинарем и т. д.

Тут же Уласюк вписал в типографский бланк — выписку из протокола применения льгот: «Пять месяцев» — и вручил его мне. Я глядел, читал и перечитывал:

«Из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры.  
(Сталин).

Выписка № 7613 из протокола применения льгот.

За отличную работу, сознательное отношение к труду, за активное участие в культурно-воспитательной работе на строительстве вторых путей Забайкальской ж. д. з/к Воронину Сергею Алексеевичу (личное дело № 149177, осужден по ст. 193—12 УК на срок 3) применить льготы в виде пяти месяцев.

Начальник строительства БАМа и нач. управления БАМЛАГа НКВД Френкель» — и его подпись красным карандашом.

А через весь документ слева направо, снизу вверх большими красными буквами — «Знатному человеку строительства вторых путей ДВК».

Все. Воля! Свободен! Могу вернуться домой. Могу уехать, куда захочу. Свободен! Разумом понимал, но до сердца еще не доходило это великое счастье. Пришел в свою каморку, сидел, думал. Завтра я могу уже уехать отсюда в Урульгу, в отдел освобождения штаба. Там получу документ и покину лагерь. И начнется новая жизнь. Какая? Об этом я не задумывался. Какая бы ни была, все равно начнется новая. Раньше, когда думал об освобождении, казалось, враз наступит ликование, но вот прошло уже несколько часов, фактически я свободен, а радости нет... По-прежнему все буднично знакомо: глухо шумит за тонкой перегородкой барак, кто-то кашляет, кто-то стучит деревянными подметками по полу, кто-то глухо с кем-то говорит... И все-таки я свободен. Это не сразу, не в один даже день, придет в сознание чувство свободы. То, что вселялось в разум в течение почти двух лет, не может сразу покинуть его. Оно еще подержит, сколько может...

На другой день я уехал в Урульгу. Перед отъездом подошел к тому, с кем должен был обязательно попрощаться, к Алексею Ивановичу Сторожкову. Ему скинули тоже полгода, но еще оставалось четыре года срока.

— Погибну я без тебя, — сказал он, — погибну... Здоровье совсем никуда...

На меня глядел отец. До чего же было удивительно сходство!

— На отца вы моего похожи, — сказал я.

— Бывает... — улыбнулся он. — А вот ты возьми-ка мой адрес, мало ли, будешь, в Москве, зайди. Там жена, три дочки. Расскажешь про меня, а про тебя я им написал. Они тебя знают. Богу о тебе молятся. Зайди.

— Вряд ли, я сразу поеду в Ленинград.

— Ну, всяко бывает... Прощай. Прощай...

В Урульге не сразу приняли в отделе освобождения. Там было столпотворение. Ехали и ехали со всех фаланг. Досрочно освобожденных оказалось много. И что удивительно, особенно много среди них было урок. Оказывается, их освобождали, чтобы очистить от них бригады. Для завершения строительства оставались настоящие путеармейцы.

Два дня я жил в пожарке. Прошло всего каких-то три месяца, но как много изменилось. Появились новые пожарные инспекторы, новые пожарные взамен освободившихся и отправленных на общие работы, — Юматов наводил порядок. Мокроусов работал в канцелярии, был в по-

жарке и Бойко. Он показал мне журнал «Путеармеец», полученный из Свободного.

— Если хочешь, возьми себе. Там тебя касается, — сказал он. Целая страница была посвящена мне. Вверху клишированный заголовок: «Страницка начидающего автора». Справа — мой портрет. Слева — вводка.

«31 июля в газете «Станем грамотными», под стихотворением «Сдаем перегон», впервые появилась подпись Сергея Воронина, молодого автора (1913 г.), до лагеря не писавшего и не печатавшегося. За четыре месяца были напечатаны: «Ударнику-путеармейцу» — в сборнике «Открытые семафоры», стихотворение и рассказ в третьем номере «Путеармейцы». Эти четыре месяца заполнены оживленной перепиской редакции с автором, работающим в БАМЛАГе, в пожарной охране 2-го отделения. Его несомненная одаренность, работоспособность, быстрый рост таковы, что хочется показать его как поэтическую личность, посвятив ему нашу первую «Страницку начидающего автора». Несмотря на некоторую неустойчивость, непреодоленные влияния, у Воронина есть уже своя, только ему присущая манера: большая легкость, простота и бодрая музыкальность, которые помогут автору стать поэтом с широкой аудиторией».

И ниже этого большое стихотворение «Два года» и другое — «Дождь», только в редакции назвали его «Непогода». Я глядел, читал, перечитывал, радовался, еще не зная того, что целых восемь лет я не буду печататься, что это последние публикации моих стихов, что я всю жизнь буду тяготеть к поэзии, но стану прозаиком.

Наконец наступил час, когда мне выдали справку об освобождении. Но этому предшествовало одно обстоятельство. В коридоре я встретил пожарного с периферии, Володкина Петра. Он тоже освободился. Сидел по «тридцать пятой». Мне бы от него подальше, но разговорились, и он убедил меня ехать в Гагаринские совхозы, к его дяде.

— Что ты такой явившься домой, — говорил он мне, — а там поработаем, оденемся, тогда и явимся как полагается.

Я уж не так был плохо одет. На мне был новый бушлат — такие бушлаты покупали местные и щеголяли в них. На мне были новые матерчатые сапоги, вполне сходившие за кожаные. Была пара, именуемая хлопчатобумажным костюмом, тоже вполне приличная. Так что я мог бы и в таком поехать домой. Но Петр уговорил. И я вместо того, чтобы назвать адрес возвращения — Ленинград, сказал: «Гагаринские совхозы». И мы с ним поехали.

Поезд шел на запад. Я отсыпался на третьей полке. В вагоне ехали только освобожденные из лагеря. Радостное оживление не покидало многих, особенно урок. Они пели блатные песни. Перед Читой окружили лоточницу, продавщицу из вагона-ресторана, и, гомоня, вытащили у нее из кармана деньги, кто-то залез из-под ее руки в корзину за бутербродами. Лоточница кричала, отбивалась и еле выбралась из вагона. Конечно, заявила, и в Чите появились оперативники. Своим наметанным глазом они отличили урок, тут же в купе обыскали их, отобрали деньги и высадили.

— По новой! — смеясь, кричали урки, покидая поезд.

После Читы в вагоне стало свободнее, и я перелез на вторую полку. Теперь я мог глядеть в окно, проезжая по тем местам, какие видел из окна, едучи в лагерь. Глядел и думал о многом, о том, что довелось вынести в СарФЗТК и в этапе, в лагере — хотя и посчастливилось мне не побывать на общих работах, — и с горечью убеждался в том, что приучился сносить хамство, сознавая свое бесправие, примиряться с обидами, перестал быть откровенным и доверчивым. Правда, многому и научился. Узнал иную сторону жизни, во всей ее сложности, в ее противоречиях, в большом и малом... Думал о матери, как с ней встретусь, что скажу, чем порадую? Грустная будет встреча. Придется начинать жизнь опять с завода. В институт не примут. Я еще и того не

знал, что не на каждый завод меня допустят, хотя и писал об этом Михаил Кольцов в «Правде» в статье «Волос в миске супа» — о том, как не принимают на работу бывших лагерников. Не знал, что впереди ждут меня анкеты, автобиографии, в которых я должен буду указывать статью, срок, состоял ли в партии и если исключен, то за что, — и это будет продолжаться долгие годы, до конца моих дней.

Ехал, думал, а в это время Петр Володкин проиграл с себя все «шмотки» и явился ко мне без ботинок, без верхнего, в одном нижнем белье.

— Чего же ты наделал? — в тревоге спросил я.

— Давай бушлат, отыграюсь, — в азартном запале ответил он.

Но я уже знал эти штуки и даже слушать не захотел.

— Значит, такая дружба? — чуть не плача, сказал Володкин.

— А ты когда садился играть, спросил меня?

— Как же такой-то я?..

— Ладно, сиди тут. — И я пошел в соседнее купе. Там игра шла вовсю. Потеснились, выгадывая для меня место. И я взял карты. Играли в «буру». В этой игре важна не столько карта, сколько сила характера и самообладание. Тут надо было внушить противнику, что у меня карта лучше, чем у него, причем это должно сопровождаться крупной торговлей. И я торговался, загоняя противников в пот. Двоих я уже скинул. Оставался последний. Как видно, у него карта была хорошая, но и он стал задумываться, подозревая, что у меня еще сильнее. Мой бушлат был оценен в пятьдесят рублей. Но его давно уже не хватало, и я подкинул свои сапоги, оценив их тоже в пятьдесят рублей.

— Крою, — выдохнул противник, пожилой урка.

Но я не мог остановиться, тогда пришлось бы открыть карты, а у меня было всего два туза, и я знал наверняка, что у него лучше карта. И я кинул на кон еще свою хлопчатобумажную пару. У урки бросать было нечего. Он показал карту своему соседу, приглашая того в долю, но тот побоялся. А я глядел на всех улыбающимися глазами, раскрывался, что у меня карта отличная, что выигрыш за мной. И все это расценивали, как и надо, полагая, что я никакой не игрок, коли весь на виду и что на самом деле, видно, карта у меня сильная.

Урка выругался и бросил свои карты. Он тут же разделся до нижнего белья, кинув мне штаны и гимнастерку. Но я оставил их ему, потому что в той куче, которую я выиграл, было вполне достаточно, чтобы одеть Петью. Карту я свою не показал, засунул в середину колоды. Пусть думают, что у меня была отличная игра.

В Москву мы приехали днем. Володкин оставил меня в зале ожидания, сказав, что выйдет на платформу, — может, увидит кого из знакомых и стрельнет денег. Мы уже не ели вторые сутки.

Я сидел и ждал. Проходило время, а его все не было. Так прошло около часа. И тогда я, не зная, что и подумать, вышел на перрон. Там были только уборщицы. Они подметали пол, посыпанный опилками. Я спросил у них, не видали ли паренька небольшого роста, в ватнике, в фуражке защитного цвета...

— Видали, видали, — перебила меня одна из уборщиц, — забрали его в милицию, в карман лез.

У меня словно что оборвалось! Что же теперь делать? Денег ни копейки. Есть нечего. Володкин прежде чем направиться в Гагаринские совхозы, надумал заехать домой в Загорск, там перехватить еды, денежек и махнуть дальше. И вот его нет. Куда податься? И я решил поехать в Загорск.

Проехал «зайцем» и сразу же направился в адресный стол милиции. Попросил адрес Володкина. Имя, отчество не знаю.

— А кто он тебе будет? — спросил милиционер.

— Он отец моего товарища. Я из лагеря, — открыто сказал я.

Милиционер стал перебирать карточки в длинном ящике.

— Нет такого.

- Как нет?
- Да так, нет.
- Совсем нет?
- Совсем нет, — засмеялся милиционер. — Может, у твоего товарища не одна фамилия, а?
- Может, и не одна...

И я пошел на станцию. Вечерело. Уже двое суток я ничего не ел. В маленьком бауле, кроме полотенца, куска мыла и кружки, находился еще томик стихов Пушкина. И я решил его продать. Поискал взглядом в зале ожидания, кому бы его предложить, и остановился на деревенском мужике. Простой народ на людскую беду отзывчивый. И верно, он купил у меня томик за рубль. Я тут же побежал в булочную и на весь рубль купил хлеба и булок. Шел обратно и на ходу ел.

Поезда уже не ходили. Надо было дожидаться утра. И я сел на пол возле голландки, привалился спиной. Ко мне подсел парнишка в роскошном драповом пальто с каракулевым воротником, с открытой головой. И тут же, видимо, принимая меня «за своего», стал рассказывать о себе, как он жил несколько дней в пассажирском вагоне, стоявшем в тупике, но вагон подцепили и теперь ему спать негде, и вот он здесь. Поинтересовался, кто, чего я, и стал спать. Да и время уже было.

Проснулся я от толчка в бок. Передо мной стоял милиционер железнодорожной охраны. Рядом с ним был мой сосед по печке.

- Документы? — спросил милиционер.
- Я торопливо достал справку. Милиционер внимательно прочитал.
- Зачем сюда приехал? — спросил он.
- К дяде, но сейчас поздно. Завтра утром пойду, — нашелся я.
- Если к утру будешь торчать здесь, заберу, — сказал милиционер и увел парнишку.

Шел уже пятый час утра. В начале шестого должен был быть первый поезд на Москву. Если я ехал в Загорск без билета более или менее безбоязненно, то теперь я уже не решался на такой трюк. Боялся, заберут, придерутся, почему я вместо Гагаринских совхозов оказался в Подмосковье, и дадут «тридцать пятую» — ее так было легко получить в моем положении, и я снова поеду, если не на БАМ, так в другой лагерь.

В пустом кошельке была вчетверо сложенная пятирублевая облигация. В пожарной охране мне выплачивали ежемесячно по пять рублей. Деньги уходили на курево. Но одна пятерка должна была уйти на подписку на заем. И ушла. И вот, как находка, пятирублевая облигация. Ее можно продать и купить билет до Москвы. А в Москве все будет проще — я пойду на Ленинградский вокзал, к дежурному НКВД, все расскажу ему и попрошу, чтобы меня или в долг или бесплатно довезли до Ленинграда. Иного выхода у меня не было. И я надеялся, что там поймут и помогут мне. Но для этого надо купить билет до Москвы. А чтобы купить, надо продать облигацию. Билет стоил меньше рубля. И я надеялся, что кто-нибудь из пассажиров купит за рубль мое единственное и теперь уже, после томика стихов Пушкина, последнее богатство — облигацию.

Народу все больше прибывало. Видимо, многие, живущие в Загорске, работали в Москве. Я выбрал солидного гражданина с портфелем, подсел к нему на скамейку и стал рассказывать всю свою историю: за что был осужден, как освободился, как меня обманул Володкин, и как я оказался без денег, и попросил купить облигацию. Я все рассказывал для того, чтобы не заподозрили меня в чем-то нечестном, могли ведь подумать, что я украл облигацию, заявить в милицию.

К счастью, гражданин с портфелем оказался хорошим человеком. Он достал кошелек, вынул оттуда пять рублей! И отдал их мне, хотя я просил всего один рубль. Я чуть не заплакал от радости. Стал благодарить.

— Ладно-ладно, беги в кассу, скоро поезд, — сказал добрый человек.

И я побежал в кассу.

В Москве я так и сделал, сразу же направился к уполномоченному НКВД. Открыл дверь в его комнату и вошел.

Он сидел в другом конце комнаты, за деревянным барьером. Как только я появился, он тут же встал и криком спросил:

— Вор?

— Нет, — оторопело ответил я.

— Бандит? — еще громче крикнул уполномоченный. Был он высокий, черноволосый, в темной форме железнодорожных войск НКВД.

— Нет... — ответил я.

— Вон!

И я понесся без оглядки. Вылетел из вокзала на площадь, пронесся по ней, нырнул под арку, свернул направо, пробежал еще и только тогда остановился, не понимая, почему ко мне так отнесся уполномоченный, и испытывал лишь страх, но еще и радость, от того, что удалось избежать опасности.

Теперь уже я был совершенно растерян, не зная куда идти, и что дальше делать. Но есть «господин случай», как сказал Бальзак, и я вспомнил об адресе, который мне дал Сторожков, человек, похожий на моего отца в год его смерти.

Семья Сторожкова жила на Лесной улице. Это было не так далеко от того места, где я стоял. Мне объяснили, как туда доехать, я сел на трамвай и благополучно прибыл на Лесную улицу. А там нашел и дом, и квартиру.

Мне открыла женщина средних лет. Я поздоровался и сказал, что я оттуда, где Сторожков Алексей Иванович, полагая, что эта женщина — жена Сторожкова. Но она оказалась соседкой.

— Их нет дома. Дети в школе, а сама работает. Но вы заходите... Заходите.

Она ввела меня в свою комнату, заставленную тесно вещами, с аппликациями и вышивками на стене, с высокой железной кроватью с никелированными шарами, столом под скатертью.

— Есть хотите? — просто спросила она.

Я не отказался. Она тут же налила мне грибной лапши тарелку, дала хлеб и ложку. И я стал есть. Когда все съел, она спросила, не хочу ли еще, и я сказал: «Да», и еще она налила целую тарелку лапши, и я съел ее. И когда она спросила, не хочу ли еще, видя какой я голодный, то я не отказался и от третьей тарелки — когда еще мне удастся поесть так, за здорово живешь. Пока я ел да рассказывал о себе да о лагере, пришла младшая дочь Сторожкова, припадающая на левую ногу. И я перешел в ее комнату.

Вскоре явилась и сама жена Сторожкова, женщина лет сорока, и только тут я подумал, что и Сторожкову было не больше пятидесяти, а то и гораздо меньше.

— Ну что, как он там? — нетерпеливо спросила она. И тут же перебила себя: — Он о вас писал мне. Большое спасибо. Как его здоровье? У него язва. Как он себя чувствует?

Сказать правду? На меня так же, как и мать, неотрывно глядела младшая дочь, ждали, что отвечу. И я немного соврал.

— Бывает, что и побаливает, но последнее время ему стало лучше...

— Это все потому, что вы ему помогли. Ему нельзя на тяжелую работу. А как теперь без вас он будет? Опять на общие?

— Нет, он будет дневальным. — Тут я не врал; прощаясь с Уласюком, я попросил, чтобы Сторожкова оставили дневальным в бараке, и тот обещал.

— Спасибо вам, спасибо, — утирая слезы, говорила она.

Пришли старшие дочери, и в комнате стало тесно.

— Если можно, я лягу спать в кухне на полу, — попросил я.

— Ну зачем же, и здесь места хватит. Правда, тоже придется на полу, больше-то негде...

Прежде чем лечь, я прошел на телеграф и послал телеграмму матери, чтобы она переслала мне почтой деньги на адрес Сторожковой. И благодарно думая, что мир все же не без добрых людей, лег спать.

— Ну вы и ругались, — сказала мне утром Сторожкова (я не помню ее имени, поэтому и называю по фамилии).

Я представил, как могу ругаться, и густо покраснел.

— Извините, — сказал я.

— Да нет-нет, что вы... я просто подумала, в каких ужасных условиях вы находились...

Она еще не ушла на работу, как в квартиру позвонили. Я настороженно посмотрел на нее. Она недоуменно пожала плечами. В такой ранний час никого не ждали.

Почтальон принес телеграмму:

«Выезжую поездом встречай вокзале девять двадцать целую мама».

И вот я на вокзале. Туманное утро. Под сводом вокзала тускло горят лампы. У входа на перрон толпятся встречающие. Среди них и я.

— Ты чего тут? — на меня смотрит милиционер.

— Пришел маму встречать.

— Маму? А ну давай отсюда!

— Честное слово, маму...

— Я кому говорю!

— Да вот у меня телеграмма, — и я подал ему телеграмму.

Милиционер посмотрел ее, крутнул головой.

— До чего же ушлые стали. Ведь «на посадку» пришел?

— На какую «посадку»? — как будто и не понял я, хотя отлично знал значение слова «посадка» — это когда в людской толчее работают карманники.

— Маму пришел встречать.

— Ну ладно, если только никакой мамы не будет, заберу. Так что смотри...

В эту минуту подошел поезд. И из вагонов густо потек народ. Я глядел во все глаза, чтобы не пропустить мать. А это было так легко в тесной толпе не заметить ее. Милиционер стоял со мной рядом.

— Ну где же твоя мама? — спросил он, когда все уже прошли, и я почувствовал его усмешку.

У входа никого не было. И на перроне пусто, только далеко-далеко в туманной изморози смутно виднелась одинокая фигура. Может, кто из проводников стоял.

— Вон она, — сказал я и пошел, сам не веря.

— Да ты стой, куда идешь-то? — уже грубо прикрикнул милиционер. Он, наверно, решил, что я хотел его провести, и разозлился.

— Да вон же она! — сказал я не оборачиваясь и еще быстрее зашагал, слыша за спиной стук сапог милиционера.

И вдруг увидел ее. Она стояла маленькая, одинокая и растерянно глядела на меня.

— Мама! — крикнул я и подбежал к ней.

Мы обнялись, расцеловались, заплакали.